КОРОНА,

ОГОНЬ И МЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ

МАКС ДАЛИН

СУДЬБА УЖЕ БРОСИЛА КОСТИ

Мир Королей

Макс Далин

Корона, огонь и медные крылья

«Эксмо»
2021

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Далин М.

Корона, огонь и медные крылья / М. Далин — «Эксмо», 2021 — (Мир Королей)

ISBN 978-5-04-193868-0

Нут – богиня судьбы, неподкупная и насмешливая. Её всегда изображают с парой игральных костей на раскрытой ладони: всё на свете зависит от того, как эти кости лягут. Моли, чтобы бросила, моли, чтобы не бросала – всё тщетно, смертному судьбы не изменить. И юная принцесса, отправленная морем к своему суженому, принцу дружественного государства, попадёт совсем не туда, куда ожидала. И принц найдёт совсем не то, что искал. И многих, многих других подхватит тем же вихрем, который несёт мрак, войну и меднокрылых людей-птиц – и Нут усмехнётся, снова подбросив кости...

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-193868-0

© Далин М., 2021
© Эксмо, 2021

Содержание

Жанна 6
Антоний 12
Жанна 21
Шуарле 31
Антоний 39
Жанна 45
Тхарайя 63
Конец ознакомительного фрагмента. 65

Макс Далин
Корона, Огонь и Медные Крылья

…Торможение держит тебя изнутри —
Я уже научился сжигать города,
Но тот пожар никому не заменит зари!..

…Я не сдвинулся с места, пока не смекнул,
Что во мне, будто в дереве, спит человек.
Подустал от бездействия мой караул;
Каждый саженец – сам себе ствол и побег!

Константин Арбенин

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© М. Далин, текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023

Жанна

Мне едва исполнилось шестнадцать лет, когда я увидела медный лик своей Судьбы, а Судьба взглянула на меня. Дождь полился с земли на небо, дерево выросло вверх корнями, я посмотрела на образ Господа Всезрящего, а он улыбнулся и подмигнул – вот до такой степени всё стало странно и нелепо, хотя начиналось чрезвычайно обыденно, самым что ни на есть ожидаемым образом.

Я воспитывалась в монастыре Великомученицы Ангелины, потому что так пожелали мой отец, государь Северного Приморья, и отец моего жениха, государь Трёх Островов. Жизнь моя текла однообразно и неспешно, так же как медленная и ленивая равнинная река, на которую я каждый день смотрела из окна моей кельи. Мои дни отличались от дней прочих монахинь только тем, что дважды в неделю ко мне приходили учительница танцев с наставницей в языке Трёх Островов и придворном этикете, а трижды – старенький профессор истории и права, который говорил любопытнейшие вещи, когда не кашлял. Всё прочее время было совершенно обыкновенно. Я тоже вышивала наалтарные покрывала, я тоже пела в монастырском хоре, я тоже гуляла в саду – разве что мне было отказано в удовольствии ухаживать за цветами, дабы грубый крестьянский труд не испортил моих рук. И скучный мир царил в моей душе – я знала наперёд всё, что произойдёт со мной в моей дальнейшей жизни.

Я точно знала, что шестнадцати лет покину стены монастыря, чтобы отправиться в далёкое морское путешествие. Корабль, который снарядит мой отец, после долгого пути достигнет западного берега страны, где живёт мой суженый и где мне суждено стать королевой. Портрет принца Трёх Островов, Антония, давным-давно висел в моей келье, напротив образа; я и привыкла к нему не меньше, чем к образу. Не знаю, любила ли я, желала ли любить подобно всем девушкам – или просто смирилась с неизбежным и приняла его. Беленький подросток с тяжёлым подбородком и чуточку капризным выражением лица, в тяжёлом бархате тёмных цветов, на фоне тяжёлых тёмных драпировок – на портрете он был изображён одиннадцатилетним; я понятия не имела, как он выглядел сейчас, девятнадцатилетним юношей. Тем более я даже представить себе не могла, каковы его нрав, убеждения и симпатии, желает ли он видеть меня хоть чуть-чуть и не кажется ли ему мой портрет, для которого я в своё время позировала целый месяц, докучным пятном на стене.

Итак, иногда принималась размышлять я, там, на Островах, я стану первой дамой, поселюсь во дворце, меня будет окружать сонм фрейлин, мне будут вдевать нитку в иголку, декламировать стихи, играть на клавикордах… Меня окружат чужие люди, говорящие на чужом языке, который я учу уже пятый год, но на котором так и не научилась думать, – вряд ли кто-нибудь станет искренне хорошо ко мне относиться. Я навсегда останусь для двора моего мужа чужеземкой – так бывает со всеми. Я спасусь от страха и одиночества тем, что заведу прелестную маленькую собаку, белую с чёрной мордочкой, какую я видела у знатной дамы, заезжавшей в монастырь на исповедь. Я буду присутствовать на турнирах, охотах, балах, церковных службах. Мне будут говорить дежурные любезности. Потом у меня родятся дети – Господь знает, как это произойдёт, но так полагается даме. Мой старший сын примет титул наследного принца. Так всё и пойдёт до самой моей смерти. Всё очень просто и ясно.

От этой простоты и ясности я пребывала в какой-то сонной апатии, будто пойманная и запертая в клетку рысь. На моей жизни стоял крест, как на аккуратно и грамотно составленном, но уже апробированном документе. Никаких смятений, бурь и греховных страстей не намечалось – им просто неоткуда было взяться. Я жила подобно узнице – без особых ущемлений и лишений, но иногда мне почти хотелось и того и другого. Будь у меня крылья – я попыталась бы улететь; будь у меня достаточно решимости и безрассудства – я прыгнула бы с монастырской стены и без крыльев, чтобы разбиться вдребезги и покончить с этой бесконечной вялой ник-

чёмностью. Ни одной струйки свежего воздуха не пробивалось снаружи. Романы о прекрасной любви по непонятной причине нагоняли на меня тоску, а не сладостные мечты – а кроме них, душеспасительных историй, житий святых и пособий по этикету, более ничего в монастырской библиотеке не было.

Мне говорили, что я не глупа, но я ни с кем не сходилась близко. Меня не любили, хотя я не давала повода для нелюбви, стараясь быть со всеми вежливой и приветливой. Пустяки, развлекавшие других узниц из аристократических семей, казались мне невыносимо скучными. Девушки мечтали о влюблённых красавцах и придворном блеске, завидуя мне, – а я не хотела быть первой дамой. Сейчас я не могу сказать, кем мне хотелось бы стать.

Может быть, кошкой, охотящейся на воробьёв. Или боевым конём. Или крестьянской девчонкой, которая гоняла мимо монастырской ограды гусей и бранила их непонятными словами. Или ласточкой. Не знаю.

Иногда я втайне от всех, даже от своего духовника, жарко молилась, прося Господа сделать что-нибудь выходящее из ряда вон, пусть самое невообразимое и ужасное. Вероятно, я, ещё почти безгрешное дитя, влагала в эти молитвы чрезмерно много страстной веры – как бы то ни было, Господь ли их услыхал, та ли богиня, о которой речь впереди, но они оказались угодными небесам…

В день моего шестнадцатилетия за мной приехали тётя с дядей в сопровождении пышной свиты. Меня впервые за пять лет одели в светский костюм; дорожные робы с тесным лифом показались мне неудобными и тяжёлыми, но я снова видела зависть в глазах моих якобы подружек, оттого промолчала.

На прощание я исповедалась, слегка умолчав о некоторых своих не слишком праведных мыслях. Со мной якобы тепло расстались.

Когда в сопровождении тёти я вышла из монастырских ворот, почти все бароны из дядиной свиты уставились на меня как на заморское диво, а дядя завопил басом: «Душечка, какая вы стали чудесная красавица!» Тётя побагровела, став похожа лицом на сердитую моську, напряжённо улыбнулась и велела мне садиться в дормез, где лежали подушки и неподвижно висел пыльный запах.

Нет смысла особенно подробно описывать дорогу. Стояла пыльная жара конца июня. Мне надлежало радоваться возможности вырваться, наконец, из клетки, но было неловко в платье, душно в дормезе и тяжело на душе. Тёте всё время казалось, что я веду себя неприлично: если я пыталась выглядывать за занавеску, следя за дорогой, это было неприлично распущенно, если я сидела смирно, сложив руки, и молчала, это было неприлично замкнуто. Тётя, которой я в детстве была нелюбопытна и безразлична, теперь невзлюбила меня не на шутку. Неужели, думала я с горечью, дело только в том, что дядя нашёл меня привлекательной?

Это было как-то даже смешно, потому что я сама нашла его не более привлекательным внешне, чем дубовый бочонок на коротких толстых ножках. Впрочем, дядя был добр со мной; я бы стала беседовать с ним, если бы тётя позволила ему хотя бы приблизиться к дормезу.

Кроме тёти в дормезе ехали три пожилые дамы, которые полностью разделяли точку зрения своей госпожи и всю дорогу учили меня манерам и скромности. Одна из них, сухая, с лицом, похожим на опавший лист в ноябре, сказала, что девушку не доведёт до добра такое сочетание чрезмерной красоты, чрезмерной гордыни и чрезмерного здравого смысла. Все прочие с ней согласились.

Я чувствовала себя отчаянно одинокой.

До портового города, где в Белом Замке меня дожидались отец с матерью, чтобы благословить и проводить в дорогу, а у причала ожидал тот самый, снаряжённый для свадебного путешествия, корабль, кортеж добирался неделю. Первую ночь я провела на постоялом дворе, где от простыней отчего-то сильно пахло рыбой, а под ними жили клопы. Это, вероятно, поко-

робило бы более благовоспитанную девицу, но мне показалось попросту смешным. К тому же прислуга была очень добра и мила со мной; весёлый молодой лакей угостил меня пирожками с малиной и показал целый выводок слепых котят в лукошке, чем очень меня позабавил, а служанки принесли в мою комнату букет полосатых лилий и распахнули окна, отчего в комнате стало свежо. Несмотря на клопов, я развеселилась, но тётя испортила мне хорошее расположение духа, сказав, что я распускаю холопов. Больше мы не ночевали на постоялых дворах, и мне пришлось спать в душном тесном дормезе, полночи слушая посвистывание спящей сухой дамы и заливистый, мелодически сложный храп тёти.

Возразить мне не дали.

Против воли я ждала встречи с отцом и матерью чрезвычайно нетерпеливо. Чем ближе наш кортеж подъезжал к городу, тем сильнее меня жгло ожидание; я едва справлялась с собой, плела в косички бахрому на занавесках дормеза, крутила бусины на шитье и порвала чётки. Эти безрассудные действия вызвали недовольство тёти и её придворных дам, надо признаться, на сей раз вполне заслуженное.

Я ведь знала, что в действительности меня ждёт. Моему отцу, великому государю Эдуарду, никогда не было дела до меня… то есть он не был жесток, его волновало, здорова ли я, хороша ли еда на моём столе, усердно ли ухаживают за моими постелью, одеждой и посудой – но более не интересовало ничего. В раннем детстве я однажды слышала, как отец осведомляется у конюшего о здоровье своего охотничьего жеребца – и меня на всю жизнь поразила схожесть интонаций в той подслушанной реплике и в отцовских расспросах о моём собственном здоровье. Полагаю, с государственной точки зрения принцесса была не менее полезной скотиной, чем лошадь: ведь устройство её брака могло принести ощутимые дипломатические выгоды престолу.

Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что отец всё же проявлял заботу о моём благополучии, по крайней мере, признавая эту полезность. Мать не признавала во мне ничего хорошего. Кто-то из её фрейлин говорил, что королева бывает нежна с сыновьями – возможно, но я не видела её нежности, почти не видела своих братьев и чрезвычайно редко видела мать. Моим детским окружением были няньки, наставницы и камеристки – мать лишь иногда входила в мои покои со скучающим вялым лицом, небрежно окидывала меня взглядом, морщилась и удалялась. В детстве я полагала, что мать измучена государственными делами, не оставляющими ей ни одной свободной минуты, что она устала и хочет отдохнуть; теперь мне казалось, что королева всегда очень мало любила меня.

Но почему-то я решила, что нынче, когда я стала взрослой девушкой, всё изменится. Недаром же я изучала эти пять лет и историю, и дипломатию, и основы права – может быть, отец теперь захочет побеседовать со мной, думала я. Теперь я смогу хотя бы отчасти, с примесью женской непоследовательности и легкомыслия, разобраться в его сложных делах. К тому же надо будет выразить матери сочувствие по поводу обременительных придворных обязанностей, чтобы она догадалась: я стала достаточно разумной и теперь хорошо понимаю её.

Сейчас я сознаю, как в те дни была глупа и ребячлива. Но тогда весь этот смешной вздор казался мне вершиной утончённой политики и чем-то исключительным в смысле постижения чувств и сложных движений чужой души.

Кортеж встречали герольды под златотканными штандартами, музыканты с рожками и самая блестящая знать, какую я могла себе представить. Дормез окружили всадники в сияющих кирасах, с плюмажами на шлемах и щитами с королевским гербом. Дорога от городских ворот до Белого Замка была усыпана цветами. Бедный люд, толпясь по обочинам, кричал: «Да здравствует принцесса! Счастья тебе, прекрасная!» Тётя, против своих обычных правил, заставила меня широко раздвинуть занавески, чтобы горожане видели моё лицо, и дала мне мешочек с мелкой монетой, чтобы я могла творить милостыню.

Признаться, я была счастлива одарить этих добрых людей хоть чем-то. Меня тронула их непосредственная радость. Весёлая чумазая девчонка кинула мне какой-то простенький цветок с жёлтой серединкой, и я сочла милым приколоть его к корсажу. Это вызвало восторг толпы – и в дормез бросали цветами, пока он не въехал во двор замка.

У меня на душе стало светло и весело. Я наивно радовалась, что простой люд так любит меня, и сама любила весь мир Божий. Моя душа начала пробуждаться; вдруг показалось, что всё, наконец, изменилось, и жизнь моя теперь будет весела и полна смысла. Когда мне позволили покинуть дормез, я выскочила, забыв о тяжести светского костюма, – и тётя тут же ткнула меня в спину, напоминая, что надлежит вести себя прилично.

Этот тычок и вернул меня с небес на землю. Я тут же прекратила скакать, как двухмесячный щенок, приподняла подол робы и сделала строгое благочестивое лицо. Моя радость омрачилась.

Отец сделал несколько шагов мне навстречу. Он был очень богато одет, но я сочла, что прошедшие со дня нашей последней встречи годы сильно утомили его. Я робко улыбнулась. Он слегка обнял меня, потом отстранил и осмотрел с деловитой внимательностью.

– Ну, – сказал он удовлетворённо, закончив осмотр, – вы, дитя моё, выглядите отменно здоровой и свежей. У наших соседей не будет ни малейших поводов к неудовольствию. Полагаю, время, проведённое в святых стенах, пошло на пользу вашему характеру, и вы стали сдержаннее и послушнее.

– Я… – пробормотала я, кажется, желая уверить отца в своём послушании, сдержанности, благонравии и всем прочем, но он меня перебил:

– Ну ладно. Сегодня в три часа пополудни вас благословит патриарх Улаф, в пять часов начнётся пир в вашу честь, а в одиннадцать часов, когда стемнеет, состоятся огненная потеха и маскарад. А отплываете вы утром.

– Я… – пролепетала я, совершенно растерявшись, но отец меня снова перебил, не позволив высказать желание остаться дома хотя бы на два дня:

– Ваше приданое готово, – сказал он. – Ваши наряды сделаны по последней северо-западной моде и должны на вас отменно смотреться. Свадебное бельё вышивали в Снежном Поместье, а сервиз мы заказали в Каменном Ущелье, у них там самые лучшие чеканщики. Всё сплошь золото с сапфирами, на всей утвари – гербы нашего дома, так что выглядеть будет очень достойно. От себя я вам дарю сапфировую диадему – мне кажется, синие камни вам пойдут. Вас будут сопровождать пять девиц из самых благородных семейств и дуэньи вашей тётки. Так что вы можете быть вполне спокойны за ваше будущее.

Закончив эту тираду, отец улыбнулся сухо и деловито, как и говорил, изобразил поцелуй, чуть коснувшись холодными губами моего лба, и закончил:

– Пойдите к матери. Она желала вас видеть.

Я отошла оглушённая. Я поняла, что отец доволен моим содержанием в монастырских конюшнях, что со свойственной ему заботливостью он распорядился, чтобы овёс у меня в яслях был отборный, чтобы попоны были вышиты шёлком, а сбруя проклепана золотом. Чтобы ему было не стыдно и принцу Антонию не зазорно.

А принцессу, как и лошадь, никто и ни о чём не спрашивает.

Тётя снова меня подтолкнула, и я пошла прочь.

Мать приняла меня в своей опочивальне, лёжа на козетке. Когда я вошла, брезгливая скука на увядшем лице королевы сменилась любопытством, а любопытство – раздражением.

– Что ж, дочь моя, – сказала мать с досадой вместо приветствия. – Теперь роброны ценой в три тысячи золотых принято украшать пыльными ромашками?

– Это мне подарили, – еле вымолвила я, уже совершенно подавленная приёмом.

– Роскошный подарок, – процедила мать сквозь зубы. – Если вас радуют подобные подарки, дочь моя, ваши удовольствия будут стоить принцу Антонию недорого.

Я не знала, что ответить, и молчала.

– Вы по-прежнему свежи лицом, – сказала мать, – по-прежнему глупы и по-прежнему не умеете себя вести. Впрочем, ум ни к чему женщине, а того, что ценят мужчины, у вас в достатке.

Меня поразила ядовитая злость в её словах. Мало сказать, что я огорчилась, – я пришла в ужас. Мне хотелось бежать, но я не знала куда.

– Выбросьте сорняк, который вы прицепили к корсажу, – приказала мать ледяным тоном. – Переоденьтесь. Прикажите уложить себе волосы по моде: с этими косами вы похожи на крестьянскую девку. И не воображайте слишком много. Утончённости в вас нет и на ломаный грош, у вас курносый нос, круглые глаза, румянец, как у базарной торговки, а грудь впору кормилице. Постарайтесь же хотя бы вести себя так, чтобы никто не подумал, будто вас подменили в колыбели.

Я покосилась в большое зеркало на стене. У меня были курносый нос, круглые глаза, румяное лицо и большая грудь, которая в глубоком вырезе нового костюма выглядела неприлично большой. По сравнению с матерью, худой, бледной, томной, с узкими плечами и грудью, едва приподнимающей ткань атласной накидки, я выглядела совершеннейшей плебейкой.

Я поняла, почему отец не желает принимать меня всерьёз, а мать раздражается. Я поняла и ещё одно, несравнимо более ужасное обстоятельство: вряд ли и принц Антоний примет всерьёз девицу, у которой волосы выгорели на солнце, а лицо заметно обветрилось и потемнело. Мне не удастся никому доказать, что девица, похожая на пастушку, на самом деле способна мыслить и чувствовать, как аристократка.

Мать усмехнулась моему замешательству и злорадно сказала:

– Извольте привести себя в порядок.

Я вышла из её покоев, вынула ромашку из петельки корсажа и зачем-то сунула её между страниц молитвенника.

Вечер того дня остался в моей памяти как вертящаяся, сыплющая искрами шутиха.

Меня одели в белое платье, украшенное бриллиантами и жемчугом, не более лёгкое, чем рыцарские доспехи. Мою талию и грудь стянули так, что я едва могла дышать, сказав, что этого требует последняя мода, – и теперь, когда я шла, казалось, что нижние рёбра цепляются за верхние. Мои волосы, тоже плебейские, слишком большие, слишком густые, белёсые от солнца, долго укладывали в высокую причёску, в которую вплели сапфировую диадему. Украшение сжало мне виски наподобие верёвки с узлами. В довершение всего, чтобы скрыть мой неприличный деревенский румянец, меня выбелили, а брови вычернили.

Я видела в зеркалах форменное чучело, крестьянскую девчонку, которую пытаются сделать похожей на придворную даму, – и у меня слёзы навёртывались на глаза. Но плакать было нельзя, чтобы не смыть слезами белил – я и не плакала. Моя душа вновь начала погружаться в апатию.

Патриарх Улаф прочёл мне длинное наставление. В исповедальне так сильно накурили ладаном, что я чувствовала тошноту и едва не упала в обморок. Патриарх сказал, что я должна быть кротка и покорна, ибо это главные добродетели женщины, а ещё – что я должна остерегаться похоти не менее, чем искушения адова.

Я едва знала, что такое похоть, но не посмела спрашивать. Со мною снова что-то делали, помимо моей воли и желаний; самое лучшее, что можно было предпринять в таком случае, по моему прежнему опыту – позволить душе погрузиться в сон.

Иначе начинает хотеться сотворить что-нибудь ужасное: разбить зеркало и порезать себе лицо, ткнуть священнослужителя чем-нибудь острым или огреть тяжёлым, а ещё хуже – посулить им всем демона и посоветовать отправляться в жилище упомянутого духа зла.

За обедом я ничего не ела. Мой живот стянули корсетом, в трапезном зале было слишком жарко, тяжело пахло жирной пищей, дорогими пряностями, вином, потом, приторными духами и ещё чем-то душным. Я сидела между отцом и матерью, отпивала по глоточку холодную воду из кубка и боролась с головокружением. Гости и приближённые моих родителей о чём-то много говорили, но я ничего не помню, кроме того, что надо было благодарно улыбаться, – и я улыбалась.

Обед длился несколько бесконечных часов. Потом все пошли смотреть огненную потеху. Я тоже пошла; мои ноги болели от модных туфель, а всё тело будто одеревенело. Начался фейерверк, всё окуталось дымом, нестерпимо запахло порохом – и я всё-таки упала в обморок впервые в жизни.

Удивительное ощущение. Меня что-то задуло, как огонёк свечи, а когда мой рассудок снова загорелся, оказалось, что вокруг меня не сад, а опочивальня. Шнуровку корсета распустили, с меня снимали платье – и камеристки говорили между собой, что я слаба, хоть и выгляжу здоровой.

Я никогда не казалась себе слабой, но мне было так плохо, что из головы моей не выходила печальная мысль об их правоте. С этой мыслью я и заснула, совершенно разбитая и несчастная.

Корабль отплыл на следующий день, на рассвете, с отливом, как и намечалось ранее.

Я впервые увидела море. Я ожидала невероятной синевы, как часто говорилось в поэмах, – но вода была серебристо-белёсая, тяжёлая, холодная. Волны не бились о берег, а неспешно плескали со стеклянным шелестом, и рыболовы, белые с чёрными головками и чёрными кончиками крыльев, носились над пирсом с воплями, похожими на горестные стоны. Корабли казались странно маленькими по сравнению с этим безбрежным и равнодушным водным простором, прямо переходящим в белёсые северные небеса.

Меня провожали торжественно. Толпа простолюдинов снова кричала мне приветствия и добрые пожелания, но меня это уже не веселило. Тяжёлые предчувствия никак не хотели отпустить мою душу; я делано улыбалась и махала платком, пока корабль не отошёл от берега так далеко, что все и всё, оставленное мною дома, слилось в одну пёструю полосу.

Вскоре берег и вовсе исчез из виду, а наш корабль, поскрипывая такелажем, поймав ветер белыми крыльями парусов, скользил теперь среди сплошной воды бесшумно и стремительно. Мои фрейлины звали меня в крохотный покоец, обустроенный специально для нас между каютой капитана и каморкой, где спали офицеры, но я не пошла. Мне хотелось стоять и смотреть, как вода за бортом пенится и разлетается стеклянными брызгами. Капли, солёные, как слёзы, попадали мне на лицо, и ветер высушивал их…

Простите мне это маранье. Я так тщательно и скучно припоминала свой последний день перед отплытием отчасти потому, что уже тогда чувствовала кожей лица дыхание ужасного вихря, изменившего весь тщательно продуманный план моей жизни и показавшего мне мир непредсказуемой и необъяснимой стороной. Моя душа уже тогда, когда я стояла и смотрела на далёкий размытый горизонт, изнемогала от ощущения близости страшного чуда. Когда я пыталась намекнуть на тревогу и тоску своим дамам, им казалось, что я просто-напросто боюсь, что корабль утонет, и они дружно обвиняли меня в малодушии – но мысль о смерти казалась мне самой незначительной из всех моих страхов… и самой несбыточной.

Антоний

Тем утром меня разбудила Булька: запрыгнула на кровать – и давай лизаться! Ну да, она-то, мошенница, уже выспалась, и ей было очень не по нраву, что я всё ещё сплю. Булька, видите ли, желала кушать и выйти на двор – и именно со мной, а не с дежурным лакеем.

Лизала меня и топталась по Шарлотте – картина! Вообще-то Булька не такая уж и мелкая, королевский пойнтер, вполне увесистая скотинка – из того заключаю, что пробуждение Шарлоты случилось повеселей моего. Это я уж про то не говорю, какая у неё оказалась помятая физиономия спросонья! На щеке отпечаталась подушка, а в волосах торчит перо.

Гусыня, сущая гусыня!

И эта гусыня ещё и голос подала:

– Доброе утро, ваше драгоценнейшее высочество! – и потянулась лобызать ручку, которую я отдёрнул: мастика для губ у ней размазалась до самого подбородка. – Мой бесценный принц, не могу ли я покорнейше попросить вас об одолжении: уберите, сделайте милость, суку из постели!

Скажите пожалуйста!

– А позволь-ка уточнить, – сказал я с иронией, – какую это суку ты имеешь в виду? Сдаётся мне, что одну суку надо было убрать из постели ещё вчера вечером, перед тем как она заснула и вымазала мои простыни своими румянами!

Разумеется, дурёха тут же сперва покраснела и вытаращила глазки, а потом кинулась извиняться, лизаться и клясться. Сначала мне её с утра совершенно не хотелось, но потом пеньюар на ней распахнулся, и я всё-таки позволил ей заслужить прощение, ха! Грудь у этой белобрысой шлюхи – хоть куда, что ни говори.

Только потом выставил. Выскочила со всем своим скарбом – с тряпьём, с гребнями, раскосмаченная – на радость дежурным! Хотя они уже привыкли, наверное.

Я почесал Бульке животик и позвонил камергеру, чтобы тащил одежду. Вместе с камергером вломились мои бароны; я одевался и слушал, какие на свете новости.

Жерар болтал о чудесах: что наставнику Храма Всезрения Господня было видение – поток лучей, а в нём бабочка; что на площади Благовещенья монахи собирают милостыню для бабы, которая расшиблась на лестнице, став кривой и горбатой, а от Взора Господня с молитвою прозрела и выпрямилась; что где-то на северном побережье рыбаки видали Морского Змея – и другое забавное. Я слушал и улыбался; Жерар – хороший парень, умный и симпатичный, хоть его мамаша и из Приморья родом.

Потом Стивен рассказал, что в лавке на пристани купец с континента показывает клинки из узорной стали стократной проковки, которые легко разрубают лист меди. Что у купца там есть такие сабли, морские тесаки и разные ножи; стоит это бешеных деньжищ, но ведь какая красота!

Стивен – славный, но дубина. Он здоровеннейший парень, отменный боец, мой фехтовальный партнёр, лучше и требовать нельзя, он верный, любит меня истово – жаль только, что слишком глуп, бедняга. Ну что он мне это рассказывает? Денег-то вечно нет…

Конечно, было бы здорово сходить к этому купцу, посмотреть… Сабля из узорной стали, а?! Как у этого рыжего посла, который резал на спор пучок конского волоса в воздухе! Ну да, поглядеть, слюной покапать и сказать: «Ничего, ничего вещица, но я пришлю за ней потом». Или – что?!

Чужому купцу не скажешь: «Почтенный, тебе заплатят после»! Заартачится. Так что ж остаётся? Мои земли – одно название, дохода с них на сбрую для лошадей не хватает. К Толстому Энгелю идти занимать – или к отцу клянчить?! Ну да, Энгель потом с тебя шкуру спустит, потребует Господь знает каких услуг, а отец не даст и скажет: «У вас, Антоний, есть име-

ние и возможности»! Отец считает, что я должен жить как подёнщик, прикидывать, хватит ли денег на дюжину перчаток или полдюжины будет довольно! Вот жизнь у наследного принца! Медный грош впору ребром ставить, чтобы не совсем бедствовать. Пошло и глупо.

Я уж совсем хотел его прервать, чтоб лишний раз не расстраиваться, но тут ко мне в будуар Эмиль ввалился, младший братец, будь он неладен! Булька на него тут же прыгнула, а он сел на корточки – и давай с ней лизаться и сюсюкать: «Булечка, Булечка!»

Я швырнул в Бульку перчаткой, чтобы не валялась перед всякой вошью на пузе и не мельтешила хвостиком, и спросил холодно:

– Что надо, Эмиль?

Ах, дамы и господа, ну как он всегда удивляется! Кукольными ресницами хлоп-хлоп:

– Отчего же вы не в духе, братец Антоний? Я хотел вас обрадовать, пришёл сказать, что Мартин приехал. Он же очень торопился, думал, опоздает на вашу свадьбу – это ему повезло, что корабль её высочества так задержался…

Я чуть не бросил в него второй перчаткой. Сразу угробил мне настроение наповал, тварь мелкая.

Терпеть Эмиля не могу. Сопля в сахаре. Мартин тоже не подарок, но он хоть родной брат, а этот убогий – сынок мачехи. И вылитая государыня, прах меня побери! За что и любим батюшкой, сентиментальным на старости лет: «Ах, Лизабетта, у Эмиля совсем ваши глаза!»

Точно. Глаза совершенно бабьи, влажный такой взгляд. Абсолютно как у мачехи. В тринадцать лет парень может хоть что-то соображать. Другие-то в тринадцать армиями командовали, а этот только кидается ко всем со своим сюсюканьем. Смотрит на людей, как щенок пуделя – ах, как восхищённо и доверчиво! – и поминутно улыбается. Принц, прости Господи…

Когда вижу его, ужасно хочется ему врезать пару раз. Просто руки чешутся – чтобы расплакался! И ведь точно расплачется, хлюпик: ах, какое болезненное дитя, оружия страшнее вилки отродясь в руках не держал, на охоту не ездит – ему жалко. Жрать дичь ему не жалко, а убивать ему жалко! Вошь ничтожная. Лицемер поганый…

Жаль, что нельзя ему наподдать, этак запросто, по-семейному. Отец разгневается, не угодно ли… и приходится терпеть рядом эту дрянь, этого любимчика, из одной только сыновней почтительности.

Быстро отец матушку забыл. Нет, я всё понимаю, спать с кем-то надо, но зачем же короновать первую встречную шлюху из захудалого дома, а, дамы и господа? Таких принцесс в округе – как грязи.

А наш душенька Эмиль всегда приходит вовремя. Напомнил баронам, будь он неладен… И они тут же выразили сочувствие, скоты такие!

Альфонс, главное лицо по женской части в моей свите, отвесил поклон, чинил политес – и сказал со скорбной миной:

– Ах, ваше прекрасное высочество, похоже, со свободой вам придётся расстаться!

И Жерар поддакнул:

– Да, да, дорогой принц, пора, пора начинать делать детей не просто так, а во имя отечества и для блага короны! Пора, пора вам, бесценный друг, позаботиться о престолонаследии…

Даже Стивен улыбнулся – «гы, забавненько!» – и выдал:

– Небось девственница? Хе!

Расстаться со свободой! Уже! Сию минуту-с! Только штаны зашнурую! Подонки, ха-ха! Лишь бы сказать гадость своему принцу!

А Альфонс почмокал и добавил:

– Девственница, да ещё, говорят, сказочная красавица! Ваше великолепное высочество, я вам где-то в глубине души даже завидую! Знаете, в глубине… очень глубоко…

Конечно, так я и поверил! Красавица! Правда, портрет я видел, но, во-первых, эту сучку рисовали ещё щенком, а во-вторых, портрет никогда ничего не доказывает. Вот, не ходить

далеко за примером, Эдгар, мой двоюродный братец, женился на дочери герцога Скального Мыса. На портрете была такая красавица – хоть в святом храме её выставь вместо статуи Божьего вестника, а в действительности оказалось, что двух зубов у неё нет и одна нога короче, ха-ха, представляете?! Приятно. Умный художник её для потомков запечатлел с закрытым ртом, а походку по картинке себе не представишь. Вот тебе и забота о престолонаследии!

Хотя эта уродина Эдгара вполне стоит, я считаю. Знаете, как говорят: демоны копыта сбили, чтобы парочку подобрать! Она хромая, он тощий, как жердь. Феерическое зрелище!

А государь Эдуард Прибережный известный политик, всегда себе на уме. Пишет отцу «мой августейший брат», но блюдёт лишь только собственные интересы. Отсюда следует всё остальное: наши послы эту принцессу не видели, а послы Эдуарда про хромоногую и рябую будут говорить «замечательная красавица», если им Эдуард прикажет. И ещё. Они, конечно, упоминали, что невеста воспитывалась в монастыре, имея в виду, что предлагают гарантированную девственницу… Но кто её знает, на самом деле? Мало ли какой похотливый святоша там её исповедовал!

Не то чтобы мне было до всего этого особенно большое дело. Если бы я выбирал любовницу надолго, то уж точно не из девственниц: они ломаются, визжат, хнычут и ничего толком не умеют. Девственницы – это забава на разок, когда есть настроение объезжать норовистых, в узду и шпорами, чтобы не брыкались! А самые лучшие любовницы, которых можно терпеть какое-то время, – это девки, что ни говори. Девки и ещё, пожалуй, шустрые замужние дамочки, которые от девок недалеко ушли, вроде этой Шарлотты. С ними можно не тратить времени на ерунду вроде болтовни ни о чём.

Но жену по традиции, освящённой веками, нужно взять непременно девственницей, а потом всю жизнь смотреть на её постылую физиономию и как-то ухитряться выбирать свободные ночи, чтобы делать наследников престола. Короче, дамы и господа, это скучища смертная, просто то самое ярмо, которое бедный принц вынужден терпеть на своей шее ради заботы о престолонаследии и блага отечества, зараза!

И весь ближайший месяц старый идиот Оливер, любимчик отца и якобы дальновидный политик, замучился блеять, какое это важное дело – забота о престолонаследии. Благие небеса! Если бы отец всегда его слушал – меня бы окрутили ещё в детстве! Просто повезло: они решили-таки, что надо дождаться, пока вырастет эта Жанна, моя наречённая во Господе… Ах, наконец-то! Да неужели же она всё-таки выросла?! Просто поверить не могу, обгадиться и не жить, как я счастлив!

А Оливеру я так и сказал: «Дорогой герцог, если вас так уж интересуют мои постельные дела, то у меня уже человек пять детей! Можете отгадать, от кого из наших столичных дам!» У него, конечно, хватило ума устыдиться и поклониться – но он ещё имел наглость бормотать что-то о падении нравов. Разумеется! Забота о престолонаследии! Нет уж, дамы и господа! Если уж говорить начистоту, когда на упомянутом престоле сижу не я – мне глубоко плевать кто! По самому большому счёту тут всё просто: или я, или чья-то посторонняя задница.

Отца я, разумеется, не считаю. Я – верный вассал… Но, если взглянуть с другой стороны – его заставили делать детей уже пятнадцати лет от роду, и это дало некие плоды. Я и пара моих братцев-обалдуев уже выросли и ждём неизвестно чего, а отцу ещё нет сорока. Да он просто из железа кован, не человек, а рыцарский меч! Он и десять лет ещё прожить может, и двадцать, и двадцать пять, и тридцать, если будет Господня милость – а я всё это время буду стариться рядом, преданно заглядывать ему в глаза и чувствовать себя девой-неудачницей… Ну уж нет, я нелепых ошибок не повторяю и дурным примерам не следую.

Дети, знаете ли, детям рознь. Не все же такие почтительные и верные, как я, или такие блаженные идиотики, как Эмиль! Бывают на белом свете такие дети, – как их только милость Божия терпит! – которые устраивают заговоры, нанимают убийц и ни с каким сыновним долгом не считаются. Нет уж, нам этого не надо. Я бы вообще лучше женился совсем старый, тогда дети

будут маленькими до упора. Пятилетний младенец не станет плести интриги против родного отца.

Этими здравыми мыслями я натурально ни с кем не делился. Вся светская челядь, которая крутится вокруг трона, – законченные подлецы, им ничего не стоит выдумать для твоих слов какой-нибудь потайной смысл и донести. А отец… он мудр, конечно, но крутоват и слишком много слушает сволочей из Малого Совета. Упомянутые же сволочи… стоит только посмотреть в бесстыжие глаза дядюшки Генриха, или дядюшки Томаса, или двоюродного братца Эдгара – и сразу понятно, о чём они думают. Что у них есть права на корону Трёх Островов, вот что! Призрачные такие права, почти бесплотные, условненькие – но есть. Королевская кровь. Вот если на их счастье отец нас с Мартином и Эмилем казнит и сам потом помрёт, то как раз дядюшка Генрих и усядется на мой трон… в смысле, на трон королевства своей тощей задницей. А если отчего-то и он скопытится – тогда уж Томасу подвалит счастье! А дальше их выродки на очереди. И шанса всё это приблизить они ни за что не упустят.

Отца, положим, они ещё боятся. Делают вид, что уважают и преклоняются. Но меня, – меня! – я знаю точно, не ставят ни во что. Тот же Эдгар тихо ненавидит – не может забыть, как в детстве я его лупил. Ха-ха, шикарно! Между прочим, я его и сейчас могу отлупить – он это хорошо знает. Святой Фредерик говорил: «Король должен быть крепок телом»! А чтобы быть крепким телом, надо охотиться, драться на кулаках, рубиться на тяжёлых мечах, скакать верхом, а не читать дурацкие книжки. Выродок, светский дегенерат на тонких ножках, что он вообще может?! Такая же мразь, как Эмиль, в сущности. Недаром же он моего младшенького «так любит, так любит», что вечно с ним шушукается. Будь у Эмиля какие-нибудь мозги, я бы думал, что Эдгар его против меня настраивает, а так – настраивать нечего.

Мартин, конечно, ещё более или менее человек. Родной брат, всё такое. Но с другой стороны, он тоже та ещё скользкая зараза. Непонятно, в кого такой уродился: матушка была женщина простая, добрая, без вывертов, отец у нас вполне рыцарь, крутой и прямой, а этот – просто угорь какой-то. Никогда не скажешь по физиономии, что он думает.

Наверное, поэтому отец его вечно гоняет по провинциям с поручениями. Мартин уже всю страну облазал до самых замшелых медвежьих углов: то письмо отвезти, то передать какую-нибудь ерунду, то уговорить кого-нибудь прибыть ко двору, чтобы уладить какую-нибудь свару. Если надо на континент, к Иерарху, например, так опять же посылают Мартина – и слава Богу, я считаю.

Вот уж не знаю, как и о чём я бы разговаривал с Иерархом!

Но это я отвлёкся.

Мартин притащился к завтраку, а Эмиль у меня так и торчал всё это время, никак не отвяжешься. «Как вы можете, дорогой братец, так говорить о достойнейшей из женщин?!» Накрутил меня до белого каления, я уже чуть не рявкнул: «Ребёнок, вали отсюда!» – но тут заявился Мартин, а камергер объявил, что кушанье готово. Милый такой вышел завтрак в семейном кругу – любо-дорого смотреть! Эмиль на Мартина таращится, как на святые мощи: «Ах, любезный братец, а что же, здорова ли герцогиня Маргарита? И по-прежнему держит в руках бразды правления? – я чуть не издох на этом месте! Нашего уродца перекормили уроками изящной словесности! Бразды! Не угодно ли? Это ещё выговорить надо! – А что же барон Олаф? Он подписал ленное право на Зелёный Бор?» А Мартин посмотрел на меня, как я скармливаю Бульке кусочки паштета, потом на баронов – Жерар слушает, подпёршись рукой, Альфонс салфетку в узелки вяжет, Стивен ковыряет в зубах с тоски – и высказался:

– Эмиль, если вам интересны конъюнктуры при дворе в Зелёном Бору, зайдите ко мне вечерком. Я покажу по карте новые границы лена, договорились?

– Мартин, – говорю, – а ты доход с Белого Дола получал?

Мартин на меня посмотрел, как умеет только он – вроде бы сочувственно, а вроде бы насмешливо:

– Сколько вам нужно, Антоний?

Ну и всё, уже совершенно не хочется с ним говорить о деньгах. Вид такой, будто я у него клянчу. Вот уж нет!

– Нисколько, – говорю. – Я так спросил. Урожай в Белом Доле или как?

Сказал и ужаснулся – не дай Господи, сейчас начнёт рассказывать об урожае и прочем подобном – но Бог миловал. Мартин только улыбнулся своей змейской улыбочкой и пожал плечами:

– Ну какой урожай в июне, о чём вы говорите, Антоний… Может, ваши насущные расходы не особенно принципиальны?

И совершенно без толку было ему объяснять про оружие с континента и ещё кое-какие необходимые траты. Всё равно не поймёт, ну его!

А Мартин сказал:

– Булька – милая собака… очень милая, Антоний, – будто я – старая барыня, и надо похвалить мою моську, чтобы ко мне подольститься!

Послал же Господь братцев! Один – стервец, второй – блаженненький. В конце концов я почувствовал, что больше душа не терпит, и сказал тоже с ядом, чтобы они ощутили моё неудовольствие:

– Знаете, я уже сыт по горло, так что позвольте откланяться. Можете тут заканчивать, а я пошёл, – свистнул Бульку и ушёл во двор со своими баронами. И пусть, думаю, эти двое обсуждают Маргариту, ленное право, урожаи – всё, что им в голову придёт. Пусть болтают, пока языки не отвалятся. А я займусь чем-нибудь более достойным наследного принца, чем эта ерунда.

Фехтованием, к примеру. Король должен быть крепок телом.

Сперва я слегка размялся. Мы с Жераром поиграли в фехтовальный поединок; у него симпатичный стиль и есть несколько изящных личных фишек вроде укола в лоб или в шею под кадык. Потом Стивен притащил палки, и мы помахались палками – весело. Удар у Стивена – вполне ничего себе, пару раз я еле его удержал.

Альфонс не стал с нами резвиться, стоял поодаль, нюхал платочек, смоченный в лавандовой воде, загадочно улыбался и на все вопросы отвечал, что собирается благоухать, если сегодня и впрямь прибудет корабль моей континентальной кобылы… ах, конечно же, очаровательнейшей принцессы Жанны. Мерзавец!

Веселились до полудня, потом решили, что проводим время недостаточно благочестиво, и пошли слушать проповедь в соборе Честной Десницы Господней, нашем придворном храме. Проповедовал мой духовник, брат Бенедикт, а его проповеди я старался по возможности не пропускать. Славный у меня священник: сорок лет, рожа круглая и красная, не дурак выпить-закусить, балахон на брюхе еле сходится, весёлый, а на проповедях такие шутки отмачивает – прихожане фыркают в платочки, чтоб не хохотать в святом храме. И исповедоваться Бенедикту – одно удовольствие, его все обожают, от моих приближённых до последнего солдата: что ему ни скажешь – на всё он отвечает: «Бог с тобою, больше не греши», всё понимает, сам живой человек.

В тот раз он говорил о падении и развращении нравов, и здорово говорил. Мы заслушались. Ну ясно, человека Господь вдохновляет – оттого речь получается вдохновенная. Совсем то, что я сам думал, только так замечательно разъяснить не умею. Тело, он говорил, это храм Божьей благодати, его надлежит держать в чистоте. Мол, все новомодные противоестественные штучки вроде кружевных жабо на мужских костюмах – это, в сущности, проделки Той Самой Стороны: стоит человеку начать себя украшать всякими такими вещами, как он впадает в соблазн и разврат, теряет мужество, и вообще – это всё равно что женщине открывать

себе ноги по самые ляжки и показывать грудь первому встречному. Грех перед Богом и перед людьми срам.

Альфонс, правда, тихонечко сказал, что лично он не возражал бы, если бы женщины открывали себе ноги по ляжки, особенно хорошенькие женщины, а уж грудь бы – это совсем хорошо. Тогда Жерар возразил, что на ноги всегда можно посмотреть и так, стоит задрать юбку, а ходить по улице почти нагишом станет только законченная шлюха, грязная, как свинья. И мне пришлось тыкать их в бока, чтобы они заткнулись и перестали смешить меня в храме – но тут я увидел кое-что, в высшей степени занятное, и ещё раз их ткнул, чтобы тоже посмотрели.

Мартинов барон, Леон из Беличьих Пущ, стоял чуть не у самого алтаря, умильно пялился на образ Господа Созидающего – а выглядел ну в точности, как описывал брат Бенедикт. В кружевном жабо чуть ли не по пояс. С распущенными патлами, как у уличной дешёвки. И в довершение всего – с жемчужиной в ухе. Совершенно такая же жемчужина, как у посла из Заозёрья, жеманной напудренной мрази, явно живущей в грехе по самые уши.

Стивен аж присвистнул – ну ему, конечно, тут же отвесили подзатыльник, чтобы соображал, где свистит. Он ухмыльнулся виновато и сказал:

– Ваше прекрасное высочество, это что ж получается? Хоть проповедь, хоть не проповедь, а всякая погань ходит в храм, как с Теми Самыми снюхавшись, и хоть наплюй ей в глаза?!

Я его хлопнул по спине:

– Ничего, мы с ним после службы потолкуем.

Все со мной согласились.

Мы к Леону подошли, когда он накрасовался своими демонскими штучками вдоволь и перестал, наконец, осквернять святое место своей особой. Он ещё у храмовых ворот помолился на Всезрящее Око. Ну помолиться-то мы ему дали – а потом я его развернул к себе, выдернул из его уха эту гадкую серьгу и отшвырнул в сторону.

Картина! Этот паршивец уже хотел завопить на всю улицу, но тут увидел, с кем имеет дело, и осёкся. Стоял, смотрел, бледный, закусив губу, тяжело дышал – и никак не мог придумать, что бы такое сказать! Мне, наследному принцу, гнида! А я взял его за грудки и выдрал эти кружева из его камзола, с мясом и нитками. Давай теперь так покрасуйся!

Он не выдержал:

– Ваше высочество, поединок!

Мои бароны чуть со смеху не полопались. А я ему так ласково, наставительно сказал:

– Какой поединок, ты рехнулся! Ты кого вызываешь, гадёныш развратный? Ты что ж, не слышал, что святой брат говорил? Ты в каком виде в Божий храм пришёл, подонок?

Покраснел, ха! Дошло до идиота! Еле выговорил:

– Я не хотел никого оскорбить, ваше прекрасное высочество…

Я ему улыбнулся.

– Ты, – сказал отечески так, – урод, ты Бога оскорбил. Ты это хоть сейчас-то понял?

Тут Стивен сказал:

– Эта мразь вас, ваше дивное высочество, на поединок вызывала – так, может, я за вас? – и потянул саблю из ножен.

Леон ещё рыпнулся:

– Не сейчас, я в храм с оружием не хожу!

А Стивен ему:

– Ты в храм в этих демонских побрякушках ходишь! Ну ничего, мне-то оружие без надобности, – и двинул его по морде так, что Леон грохнулся бы навзничь, если бы его Альфонс не подхватил и не толкнул назад, Стивену навстречу.

Они его за две минуты научили благочестию. Жаль, конечно, что мне было низко ввязываться, но бароны и сами справились. Потом прислонили к стеночке и оставили в назидание прихожанам: нос на сторону, рожа сине-чёрная, облевался, когда Стивен врезал ему под рёбра,

и вдобавок, в виде завершающего штриха, Альфред обрезал его эти локоны отвратительные, саблей – ну как уж обрезались.

Я ему напоследок пообещал, что побеседую о его нравственности с Мартином, но уж слышал Леон или нет – это в чистом виде воля Божья.

А Жерар сказал:

– Не пойти ли обедать, господа?

Я подумал, стоит ли возвращаться домой, и рассудил, что не стоит. Придёшь – а у тебя сидят, носы протяня, дорогие братцы и гонец из порта. И все радостно сообщают, что кортеж невесты уже выехал. Не хочу. Вот вроде бы и понимаю, что это получается оттягивание неизбежных неприятностей – а всё равно не хочу. Если заморскую кобы… принцессу привезли – пусть теперь пажи отца бегают по городу и меня ищут. В конце концов, это отцу надо, а не мне.

Поэтому мы пошли в ближайшую таверну, только выбрали почище. Тоже ведь, в своём роде, весело! Трактирщик тут же полез из кожи вон, чтобы мне угодить: смахнул крошки со стола Стивену на колени, ха, и пообещал лучшее вино за счёт заведения:

– Ах, ваше прекраснейшее высочество, радость-то какая! Честь-то! Сию секундочку!

А мясо на углях всё-таки вполне прилично пахло. И девицы, горожанки, совсем молоденькие, в коротких юбчонках – ножку выше щиколотки видно – посматривали и хихикали. Я хорошо устроился; уже хотел кивнуть девицам, чтобы подошли – ох, и доиграются, малютки! – и тут вдруг такое увидал, что у меня аж рот приоткрылся. И мои бароны уставились. Срань Господня…

Принесли нам вино за счёт заведения! Средь бела дня, дамы и господа!

Хромая, но это ещё полбеды. Мало ли от чего люди хромают. Бледная – ладно, тоже бывает просто так. Страшенная, грудь впалая, шея тощая, нос крючком – ладно, просто уродина. Но на роже – прямо на роже! – чёрное! родимое! пятно!

Размером с золотой! А формой – будто её кто когтем по физиономии царапнул и клок вырвал! И из этого пятна растёт шерсть – представляете себе?!

Жерар прижал платок к губам. А Альфонс сказал:

– Ваше чудесное высочество, вы на руки её посмотрите, если не стошнит!

Посмотрел. На правой руке мизинец с безымянным пальцем сросся.

Сука дёрнулась, грохнула бутылки на стол и хотела удрать, но Стивен поймал её за локоть. А я встал, отшвырнул стул и позвал трактирщика. Народ из этого поганого места кинулся вон, аж сшиблись в дверях лбами.

Тот прискакал, увидел – тоже позеленел и затрясся.

– Ничего себе, – сказал я. – Это что ж, у тебя некромантка прислуживает гостям? Ведьма?

Он на колени бухнулся, хотел меня за руки хватать – я отодвинулся. А трактирщик лепечет:

– Бросьте, ваше великолепное высочество, какая она некромантка! Дочка, с рожденья увечная, старая девка, готовит отлично…

Бароны засвистели. Жерар фыркнул в платок и процедил:

– О, прекрасно, она ещё и готовит! Она у тебя, любезный, часом, не из жира мертвецов с гнилыми костями готовит?

А Альфонс:

– Старая девка? Известно – некроманты не женятся, замуж не выходят, им другое надо! – и усмехнулся гадливо.

Трактирщик распустил сопли, а девка поджала губы, сощурилась – и молчит. Зато её папаша просто криком кричал, мразь:

– Пощадите, ваше высочество! Увечная, хромая, отродясь ничего дурного не делывала!

Тогда Стивен её за волосы ухватил и повернул меченой рожей к свету, а Альфонс отстегнул пряжку из плаща и воткнул иголку от пряжки ей в щёку, в центр метки. Гадина только зубами скрипнула, молча – а он вытащил иглу и показал всем. Совершенно сухая, ни капельки крови.

У трактирщика чуть глаза не выскочили.

– Ну что, – сказал я, – что ты, подонок, теперь скажешь? Это у неё на морде не знак Тех Самых? Милая, бедная девушка, да? Увечная?

Когда взрослый мужик рыдает – зрелище до предела отвратительное. Морда красная, в соплях, трясётся – Жерар выплеснул ему в харю кружку воды, и ещё милосердно поступил. А этот безбожник всё своё:

– Ничего дурного, клянусь Богом, ваше высочество! С мертвецами – никак никогда, ну – гадает, чуть-чуть, слегка, на куриных потрошках – и всё, вот Всезрящий свидетель!

Ну этого уж, натурально, никак нельзя было стерпеть. Альфонс выскочил позвать стражу, Жерар обнажил саблю, Стивен суку потащил к выходу. На потрошках гадала! На куриных! А точно – не младенческих, ты, богоотступник?

Сильная была, паршивка. Стивен её еле волок; когда стражники вбежали, мы ещё были в трактире. Командир отряда поклонился; я приказал:

– Бабу – в Башню Порока как некромантку, и дайте знать святым наставникам. Эту поганую дыру прикрыть до выяснения. Оставь здесь людей.

А сука схватила своей изуродованной клешнёй кусок сырого мяса, что слуга жарить нёс, да так и бросил, прижала к меченой щеке и посмотрела на меня. И заговорила – сипло, но громко, я каждое слово расслышал:

– Ты, принц, пойдёшь за золотом, огнём и кровью – и найдёшь и то, и другое, и третье! Тебе в другом месте обед из жира мертвецов с гнилыми костями приготовят! Ты запомни, принц, нам с тобой вместе гореть, только тебе – в другом костре! – и дико расхохоталась. Безумная ведьма.

Мне вдруг стало душно в этом гадюшнике – и я выскочил на воздух, а бароны со мной. В конце концов, не моё дело разбираться с тварями, которые служат Тем Самым. Пусть теперь ею занимаются те, кому положено. Фу, прах побери, мерзость какая! А тут ещё Жерар спросил:

– Вы, ваше прекрасное высочество, в предсказания верите?

– Не дури, – ответил я как можно внушительнее, чтоб он понял, какую на самом деле глупость сморозил. – Лжепророки – они враги Божьи, все слова у них – от Тех Самых, и от этой ереси помогают молитва и Всезрящее Око. Ты что, испугался?

– Испугаешься тут, – сказал Стивен. – Как вы, ваше высочество, этих подлюк не боитесь! У неё такая рука холоднущая была, я чуть не бросил всё к псам, только вас постыдился.

– Да уж, – сказал Альфонс. – Вы, ваше прекрасное высочество, смелы просто на редкость. Я бы не стал связываться. Как она ржала-то! Мне даже жутко стало…

– Ну, – сказал я, – ей уже не долго ржать, адовой кобыле. И нечего бояться Всех Этих, они только страхом и сильны. И вообще – у нас сегодня день богоугодных дел, потому – Господь нас защитит и отблагодарит.

И точно. Господь отблагодарил.

Мы, конечно, больше ни в какой притон не полезли – никакой радости уже не было. Обедали дома, потом я сходил на псарню, посмотреть, как мои пойнтера: через пару дней собирался охотиться. Булька была рада до невозможности, со всеми перенюхалась, уходить не хотела – так уж, только потому пошла, что я позвал. За спасибо.

Хотел зайти к отцу, но у него была толпа послов из Приморья, только без женщин. Не свадебная свита, слава Богу. Я подумал, что они опять насчёт какой-нибудь торговой ерунды, не прислушивался. Поболтал в приёмной с какой-то провинциальной штучкой, пригласил её

к себе – ну, у меня она ещё слегка поломалась, пришлось ей напомнить, что имеет дело с принцем. Через четверть часа дурочка перестала хныкать, а через час уже мило лизалась. Велел ей прийти вечером: Шарлотта уже надоела своими глупостями, да и фигура у этой получше. Пышка такая, ямочки над поясницей.

И когда эта дамочка уже дошнуровывалась, ко мне вдруг заявился секретарь отца. Велел срочно идти, а мину имел такую, будто его любимую часть тела прищемили дверью. Я слегка занервничал, но пошёл.

В приёмной никого чужих уже не было, а у отца в кабинете торчали Мартин и Эмиль. И Эмиль рыдал, представляете себе, дамы и господа?! Рыдал, а Мартин обнимал его за плечо и на меня посмотрел как-то странно. То ли сердито, то ли сочувственно.

А отец оторвался от какой-то своей писанины и сказал, ужасно хмуро:

– Пришёл корабль из Приморья, Антоний. Послы интересовались здоровьем принцессы Жанны. Она должна была прибыть ещё на позапрошлой неделе.

Я стоял как оглушённый. А Мартин сказал:

– Помните бурю, которая сломала ясень в королевском парке? В эту бурю попал её корабль. Ваша невеста погибла. Утонула.

Эмиль снова захныкал. А я вдруг понял: всё! Господь меня освободил! Он мне руки развязал! И больше ничего раз навсегда запланированного с моего рождения уже не будет! Никогда!

Жанна

Не стану вам докучать описаниями начала нашего пути. Несколько дней корабль – он назывался «Святая Жанна» в честь моей небесной покровительницы – плыл по спокойным волнам, подгоняемый свежим солёным ветром. Дамы из тётиной свиты не позволяли мне беседовать не только с матросами, но и с офицерами, считая, что для невесты принца недопустимо общество мужчин столь низкого ранга. Это было мне весьма досадно, потому что среди моряков были особы презабавные, к примеру, толстый коротенький офицер с огромными косматыми бакенбардами, в добром расположении духа свистевший жаворонком, а в дурном кричавший на матросов: «Бесы пересоленные! Сто собак вас зубами за пятки!» Вообще наблюдать за работой моряков, всё время вязавших какие-то верёвки на мачтах, лазавших по лестницам, тянувших канаты и певших печальные песни, было куда веселее, чем слушать опостылевшую дамскую болтовню, – но наблюдать мне не давали.

Мои фрейлины в первый же день взяли с меня обещания, что я выдам их замуж за приближённых моего жениха, как только всё устроится. Они напирали в особенности на то, что приближённые должны быть богаты и влиятельны – и болтали лишь о кружевах, выделываемых на Трёх Островах, об аметистах из знаменитых островных копей, о румянах и прочих давно надоевших мне пустяках.

Я попыталась спросить одну из дуэний, отнюдь не девицу, а почтенную вдову, каково состоять в браке. Она разразилась прочувствованной речью, из которой я узнала, что быть замужем несносно, что супружеские обязанности – тоскливое бремя, а мужчины – отребья рода человеческого, терпимые Господом лишь из-за того, что женщин кто-то должен кормить и защищать. К ней присоединились две другие дуэньи, которые никогда не имели мужей, одна – по несклонности души к семейной жизни, а вторая – из-за какой-то ужасной истории. Они все втроём долго учили нас, молодых девиц, как надо вести себя в супружестве, чтобы муж не устроился у тебя на голове. В конце концов мне стало тошно, и я вышла на воздух, сославшись на морскую болезнь.

Морская болезнь оказалась очень удобным предлогом. Ею страдали все дамы – но не я по какому-то странному капризу природы. Это давало мне возможность проводить больше времени на воздухе, а не в духоте нашего покоя, ссылаясь на естественное нездоровье – и все верили мне. Вообще, смотреть на море во всей его переменчивой прелести было для меня большим наслаждением, хотя все прочие и находили путешествие скучным и утомительным в крайней степени.

Первые дни пути прошли спокойно, но вскоре на смену покою пришёл сплошной кошмар. Помню, всё началось ночью. Я спала в нашем закутке, на узкой, но довольно удобной постели, когда мне приснился сон, чрезвычайно яркий, как явь, и чрезвычайно глубоко врезавшийся мне в память. Его смысл я узнала значительно позже – и поразилась силе предчувствия.

Мне приснилось, что я вхожу в огромный зал, наполненный сумраком. Тяжёлые колонны шершавого тёмно-красного камня уходят куда-то в темноту, а их нижние части освещены рваным пламенем, горящим в медных чашах. Я иду между двух рядов этих пылающих чаш. Пахнет какими-то благовониями, пряно и сладко. Вдруг передо мной поднимается статуя, окутанная мягкой и блестящей серою тканью, так что виднеются только ступни, необыкновенно искусно изваянные из тёмной бронзы, по форме и размеру – точь-в-точь как босые ступни живой молодой женщины. Мне становится любопытно увидеть статую целиком, и я стаскиваю с неё ткань.

Передо мной оказывается бронзовое изваяние нагой, очень гибкой женщины. Её наготу несколько прикрывает целый поток тонких косичек длиной по самые лодыжки, схваченный на лбу тонким обручем. Низ лица статуи напоминает кошачью мордочку с плоским носом, а верх – человеческий, но в громадных раскосых очах под крылатым взмахом тонких бровей

всё же есть что-то звериное. И эти очи с узкой щелью зрачка не бронзовые, а живые, зрячие, золотисто-зелёные – и дева-зверь глядит на меня.

Я помню, как оцепенела под этим взглядом, не злобным, а каким-то сосредоточенно-любопытным, как у кошки. И тут статуя протянула ко мне свою узкую бронзовую руку, а на её ладони лежали игральные кости.

Я видела почти такие же у матросов. Два кубика, испещрённые точками – их бросают и смотрят, сколько выпадет очков. У кого больше – тот и выиграл…

На костях выпало две шестёрки – и я как-то поняла, что это мой выигрыш, две шестёрки. Я испугалась и обрадовалась разом, подняла глаза – а статуя улыбнулась, показав неожиданно длинные острые клыки. В этот миг я вдруг подумала, что она – демон.

Я проснулась в диком страхе. Корабль болтало, как щепку, и было слышно, как пронзительно, будто рог самого Короля Ада, завывает ветер. Волны с рёвом обрушивались на борта, везде плескало и скрипело – я решила, что корабль идёт ко дну, и то же самое думала моя свита. Никто уже не спал; мы в ужасе прижались друг к другу, шепча молитвы, а пол под нами ходил ходуном, и вода подтекала под запертую дверь.

Страшный шквал, невесть откуда налетевший, довольно, как я потом узнала, редкий в наших широтах, сломав мачту и сорвав паруса с двух уцелевших, гнал наш корабль неведомо куда.

Море бушевало нестерпимо долго.

Мне и моим дамам повезло: корабельный капеллан успел исповедать нас и отпустить нам грехи, перед тем как был смыт за борт и утонул. Несколько матросов и забавный офицер, который свистел жаворонком, тоже погибли в волнах, и никто не смог прийти им на помощь. Тяжёлые валы налетали и с грохотом разбивались о палубу – всякий из работающих на ней людей рисковал быть смытым в море, а значит – неминуемо утонуть. Помощник капитана и молодой матрос были ранены обломками, когда рухнула мачта, и теперь очень страдали – но на корабле уже не было ни врача, ни священника, чтобы хоть отчасти облегчить им участь. Я перебралась в кубрик, приказала открыть бочку вина, которое везли в подарок моему жениху, согрела его на маленькой жаровне и поила этих несчастных, чтобы немного их развеселить и чтобы в довершение беды к ним не привязалась лихорадка. Офицер с разодранной щекой помог мне наложить лубки на их переломанные кости. От моих дам не было пользы и помощи, но вреда тоже не было: они не говорили, что я веду себя неприлично положению, им было не до меня.

Никто не мог ничего есть; пресную воду смешивали с вином и давали дамам и раненым, остальные готовы были подставить рты под струи дождя, хлеставшего всю неделю как из ведра. Воду с небес собирали, насколько было возможно, но выходило не так уж и много.

На третий день бури лопнули канаты, которыми держались сундуки с моим приданым. Мои шёлковые попоны, златокованая сбруя и посуда с гербами королевского дома исчезли в море раньше, чем кто-либо успел спохватиться. Дамы выразили мне соболезнования.

Смешно, но меня это ничуть не огорчило. Глупо было думать о побрякушках и тряпках, стоя на самом краю бездны и глядя в вечность. Я была совершенно уверена – отчасти из-за странных предчувствий, отчасти из-за непонятного сна – что наш корабль непременно утонет. Мысль о бренности жизни, как ни странно, придавала мне сил. Мне хотелось помогать матросам, елико возможно; я надеялась только, что впервые в жизни сумею сделать что-нибудь полезное, перед тем как пойду на дно.

Всё это время я спала очень скверно; бельё вымокло насквозь, я, казалось, покрылась коркой соли, как фазан, которого собрались запекать на Благовещенье, у меня ныло всё тело, – но если мне удавалось задремать, то перед моими глазами являлась усмехающаяся статуя и протягивала мне игральные кости с двумя шестёрками.

Я чувствовала, что это знамение – но знамение явно посылал не Господь…

К тому времени, как дождь унялся и ветер утих, матросы называли меня «отчаянная госпожа».

Я научилась перевязывать раны и вязать узлы, которые не могут развязаться по случайности – из тех, какими моряки крепят паруса. Никто из команды не думал ничем оскорбить меня; я спала в кубрике, в гамаке, который повесили в дальний угол и отгородили занавеской из одеяла. В кубрике стоял душный тяжёлый запах пота, затхлой парусины и несвежей рыбы; проснувшись ночью, я всегда рисковала увидеть крысу, высовывающую из щели умную нервную мордочку или промышляющую кусочек сухаря – но всё это меня уже не отвращало. Великолепно понимая, что моё поведение непристойно, я тем не менее не могла поступить иначе: все уцелевшие на корабле здоровые мужчины были заняты чрезвычайно тяжёлой, утомительной и опасной работой, некому было подать раненым воды. А между тем один из них, юный матрос, которому обломки раздавили грудь так, что кровь текла изо рта, очевидно, умирал – невозможно было оставить его не только без напутствия церкви, но и без простого человеческого участия. Я выучилась болтать забавные пустяки, отвлекающие от боли и страха, рассказывать легенды и напевать детские песенки.

За эту неделю я увидала более страданий и мук, чем за всю прежнюю жизнь.

Удивительно, но я, кажется, не ждала, что этот солёный ревущий ад когда-нибудь отступит. Я так привыкла, что на палубу можно выйти, только изо всех сил вцепившись в протянутую вдоль надстроек верёвку, что поразилась, проснувшись в относительной тишине.

Откуда-то сверху сквозь щели проникали узкие солнечные лучи. Я горячо возблагодарила Господа за чудо, побыстрей поднялась с постели и вышла.

Вокруг нашего корабля, изуродованного, искалеченного так, что больно было взглянуть, простирались безбрежные воды – и эти воды отличались от того, что я видела раньше. Море так и не стало синим – но теперь оно напоминало сияющее зелёное стекло, в котором играли золотые солнечные блики. Невдалеке от корабля резвились, прыгая и кружась в воде, потешные создания вроде громадных рыб, смешные мордочки с вытянутыми рыльцами и бойкими глазками казались на удивление осмысленными. Рыбы эти щебетали и чирикали подобно птицам – я невольно загляделась на такое диво.

Потом офицер по имени Роланд, тот самый, чью щёку разорвала отлетевшая щепка, объяснил, что резвящиеся твари – не рыбы, а род зверей, и зовутся они морскими свиньями за свои рыльца, а пуще – за визг и хрюканье. Мне показалось неблагозвучным такое грубое имя для столь весёлых и грациозных существ; я шутливо заспорила с Роландом, не придав значения его озабоченному виду.

А заботило его то обстоятельство, что морские свиньи, по своей природе любя тепло, не водятся в наших северных водах. Буря занесла наш корабль в далёкие южные страны, где, как мне было достоверно известно из уроков землеописания, жили кровожадные дикари, не верующие в Господа, не знающие закона, не поддающиеся никаким увещеваниям рассудка и ведущие самую разнузданную и отвратительную жизнь.

Увы, моряки, не искушённые в этикете, не сумели скрыть эту печальную новость от моих несчастных фрейлин. Когда я увидела, наконец, свою бедную свиту при солнечном свете, у меня сердце сжалось от жалости: они напоминали мокрых кошек и своей в одночасье истрепавшейся одеждой, и своими осунувшимися личиками. К тому же бедняжки совершенно пали духом.

Тем не менее мне удалось убедить их, что самое худшее уже позади. Я сама была в том убеждена; к сожалению, я жесточайше обманулась. Во-первых, бедный страдалец всё-таки умер тихой и тёплой ночью, плача и сожалея о невозможности предсмертного напутствия церкви – я могла лишь помолиться вместе с ним. Во-вторых, эдемская краса здешних мест оказалась обманчивой и коварной.

Мой щедрый отец отрядил для меня прекрасный корабль, команда которого совершала лишь недолгие путешествия от нашего порта у Белого Замка до столицы Трёх Островов и обратно. Моряки были отважны и умелы, но никто из них никогда не видал таких далёких мест, как эти южные воды, куда занесла нас буря. Насколько я могу понять, всё здесь, в этом далёком краю, серьёзно отличалось от привычного нам, северного. Другие воды, другие небеса; я даже услышала от штурмана, угрюмого сутулого человека, что самый рисунок Божьих созвездий был здесь совсем другим, и вскоре сама убедилась в этом. Стоя на палубе в сумерки, я смотрела в непривычное небо, чёрное и бархатное, и не могла найти пяти знакомых звёзд Десницы, вечно указующих на Око Господне, прекрасное, яркое, мерцающее неизменно на севере, – а чужой опрокинутый месяц тонким коготком царапал горизонт.

Самым худшим мне казались сны. Теперь я не сомневалась в их вещей природе. Девазверь по-прежнему снилась мне на сотню ладов: то я видела её стоящей на верхушке какого-то сооружения вроде площадки сторожевой башни, и бронзовые косы её развевал солнечный ветер; то она украшала себя охапкой маков, алых, как свежая кровь, – и лепестки этих маков вдруг стекали по тёмному металлу её тела яркими кровавыми струями… но куда бы меня ни заводили странные закоулки сновидений, всегда она была довольна. Мне положительно мерещилась весёлая и лукавая ухмылка, чуть раздвигавшая её кошачьи щёки.

И каждый раз бронзовый демон показывал мне две шестёрки, выпавшие на игральных костях, а я никак не могла догадаться, что же такое я выиграла.

Не размеренное благополучие, во всяком случае.

Здешняя погода казалась насмешливо прекрасной. Небеса над спокойной солнечной водой сияли безоблачной безмятежностью, было очень тепло, даже жарко, дул ровный свежий ветер – но дул он на юг, а нам надо было поворачивать на север. Матросы бранились и молились, но положение дел не менялось – и «Святая Жанна» забиралась всё дальше на юго-восток. В конце концов я узнала от Роланда, что капитан решил направить корабль к здешним опасным берегам, чтобы пополнить запасы пресной воды и залатать наши пробоины.

Дамы моей свиты пришли в ужас от такой перспективы. Капитану стоило большого труда объяснить моим дуэньям, что здешние жители, буде они и обитают на том берегу, к которому мы направляемся, не более чем ничтожные дикари. Если они задумают напасть, пушки и мушкеты быстро их вразумят – но они, конечно, не вздумают, устрашённые величием такого невиданного в здешних местах дива, как корабль из цивилизованной страны.

Это заявление всех успокоило. Дамы принялись обсуждать обратный путь, сетуя и сожалея о потерях, тяготах и досадной задержке. Я, втайне очарованная перспективой увидеть чужой неведомый берег, задумавшись, пошла по палубе в направлении юта – и случайно услыхала, как матросы обсуждают между собой вероятность встречи с туземками и естество упомянутых туземок. Услышанное потрясло меня настолько, что мир вокруг на миг стал серым и ватным: большая часть слов, употребляемых матросами, была мне непонятна, но циническая грубость речей – очевидна и оскорбительна. Я поспешно ушла, пытаясь извинить матросов звериной тупостью местных жителей: ведь наша команда прежде никогда не позволяла себе грубых слов о женщинах. Может быть, думала я, туземки стоят на более низкой ступени жизни, чем даже жалкие нищенки и крестьянские девки. Но если рыцарство тут и неуместно – может, неуместен и этот интерес какого-то странного, гнусного толка?

Я, признаться, перепугалась, узнав, как мужчины могут говорить о женском теле. Полагаю, именно в тот момент я начала смутно догадываться о том, что такое похоть, – и была потрясена подозрением патриарха Улафа на моей прощальной исповеди. Он считал, что я тоже могу так думать или говорить?! Какой позор…

Боясь услышать ещё что-нибудь в этом роде, я перебралась из кубрика в наш закуток. Там дамы безнадёжно пытались привести себя в порядок и роптали на судьбу – это было скучно, но

безопасно для моей души. Я хотела бы обсудить услышанное с кем-нибудь компетентным, но, к сожалению, наш бедный капеллан давно пребывал на лоне Господнем, дуэньи не производили впечатления беспристрастных, а поверить такой вопрос Роланду я не осмелилась, не в силах предугадать его реакцию.

Вообще мне показалось, что во время грозы и Божьего гнева мы все были – одно: человеческие души, объединённые одним страхом, болью и отвагой, а теперь, когда опасность миновала, находящиеся на борту «Святой Жанны» вдруг разделились на дам и мужчин, аристократов и плебеев, моряков и жалких сухопутных созданий… Это было мне весьма неприятно и грустно. Я успела проникнуться к матросам сочувственной любовью, а теперь думала, что слишком мало знаю жизнь для скорых чувств и опрометчивых решений.

Еда, предназначенная для моей свиты, большей частию успела испортиться за слишком долгое плавание – она была решительно не годна для хранения. Поэтому мы были вынуждены вместе с командой есть варёную солонину и корабельные сухари, которыми надлежало колотить об стол, прежде чем надкусить – чтобы выгнать хлебных личинок. За это плаванье я совсем рассталась с девичьей брезгливостью. В монастыре я боялась крыс, у меня вызывали истинный ужас дождевые черви, я прикрывала нос платком, когда с полей доносился запах навоза, – теперь крысы казались мне забавными созданиями, личинок, выпадавших из хлеба, я спокойно сдувала со стола, а любые запахи научилась обонять со стоическим спокойствием, зная, что когда-нибудь принюхаюсь и перестану их ощущать. Сейчас я сказала бы, что Господь, взиравший на меня в монастыре, отвёл взгляд от «Святой Жанны», а бронзовая дева-зверь, сменив его, принялась учить меня так, как учат на плацу молодых солдат – жестоко, но действенно.

Ей, безусловно, было открыто моё будущее, ещё тёмное для меня.

Наш корабль держал курс к чужой земле, и земля уже появилась в виду его, когда случилось это страшное диво.

Крохотные облака на рдеющем вечернем горизонте вдруг принялись приближаться с чудовищной, неестественной стремительностью, и просвеченный мир почернел, словно от горя. Прежде чем капитан успел что-то предпринять, рванул ветер жуткой силы – наш бедный корабль, и без того искалеченный, подхватило, как соломинку, крутануло и понесло. Паруса, которые команда с таким трудом восстановила, сорвало, словно носовые платки; волны взметнулись до небес и взревели на тысячу ладов. Я в инстинктивном ужасе выскочила из нашего закутка, не слушая никаких предостерегающих криков – и в этот момент обезумевший вал швырнул наш корабль на еле приподнятую над водой скальную гряду.

Сильнейший удар, мне показалось, сразу расколол «Святую Жанну» от палубы до самого киля – треск отозвался в моих костях. Я тщетно попыталась за что-то уцепиться, но мои руки разжались, и в следующий миг я вылетела через борт и плюхнулась в воду, ударившись об её поверхность, как о каменную плиту.

Ошеломлённая ударом, болью и резким холодом, я с головой ушла под воду и забарахталась щенком, брошенным в пруд, ничего не осознавая, кроме того что тону. Солёная вода хлынула мне в горло, в нос, в уши; ощущение было отвратительным, будто я захлёбываюсь в крови. Я судорожно колотила руками и ногами – и вдруг под мои пальцы попал какой-то твёрдый предмет.

Я вцепилась в него, что было мочи – и некая сила вынесла меня на поверхность, позволив на миг перевести дыхание, а потом потащила вперёд, то захлёстывая с головой, то отпуская, играя моим телом, как кот – придушенной мышью…

Вероятно, будь на мне роброн, никакое везение не спасло бы моей бедной жизни: тяжёлое платье, намокнув, утянуло бы меня на дно. Но я была одета лишь в рубашку, юбку и дорожный костюм, лишённый мною удобства ради кринолина и корсета – мокрая ткань облепила мои

ноги, мешая бороться с волнами, но её вес не стал невыносимым. Сорванная дверь, за которую я судорожно ухватилась, удержала меня на плаву; после отчаянной и мучительной борьбы я вскарабкалась на неё и прижалась к мокрому дереву всем телом, намертво вцепившись в края доски пальцами и обхватив её, насколько сумела, лодыжками. Волны швыряли мой жалкий снаряд то вверх, то вниз, я ничего не видела и не понимала, это длилось бесконечно. Уже не разум, а лишь животная цепкость, нерассуждающий страх перед смертью заставили меня, сдирая ногти, из последних сил держаться за скользкую волокнистую поверхность. Я не помню момента, когда море, вдоволь наигравшись мной, выволокло игрушку на берег – кажется, я впала в беспамятство раньше. Дивлюсь, отчего не разжала руки, когда меня покинула воля – и, дивясь, вижу в этом насмешливую улыбку девы-зверя…

Я очнулась ранним утром, от ужасной жажды. Было тихо, только мерно шелестели волны и кричали морские птицы.

Еле заставив себя открыть глаза, я увидела, что уже совсем светло. Я лежала на мокром песке и чувствовала себя так, будто меня долго били палками. Моё платье и волосы были полны песка, песок скрипел на зубах; я посмотрела на свои руки, саднящие, как ошпаренные кипятком, и увидела, что на пальцах запеклась кровь, а ногти сорваны и поломаны. Грязные волосы свешивались каким-то растрёпанным колтуном, а всё тело зудело, раздражённое мокрыми просоленными тряпками. Пить хотелось нестерпимо, губы потрескались в кровь, а язык казался вязанным из грубой шерсти.

Я встала на ноги после многих неудачных попыток. Голова кружилась и болела, меня шатало; я подумала, как хорошо было бы найти родник, и побрела по полосе прибоя неведомо куда. Вероятно, мне следовало бы скорбеть о погибшем корабле, о бедных матросах и моей потерянной свите – но я могла думать только о воде и своих сухих губах, сожжённых солью до резкой боли.

Несколько раз я споткнулась и чуть не упала; мне пришлось прилагать серьёзные усилия, чтобы остаться на ногах. Мой взгляд бесцельно скользил по тёмному от воды песку в кайме пены. Иногда в поле зрения попадали странные зверушки, без шерсти, зато покрытые скорлупой подобно яйцам. У них не было головы, а глаза росли на стебельках из круглого живота – эти существа боком ползали по песку на многих тонких ножках, выставляя вперёд отвратительную лапу, похожую на зазубренные клещи. Я смотрела на них без любопытства, лишь отмечая в уме величие Господа и прикидывая, нужна ли этим тварям пресная вода для питья.

По-видимому, они обходились и морской водой. Рыболовы, совсем как наши, только белые почти целиком, так же как в городе, проводившем меня, печально вопили и носились низко над водой, высматривая рыбёшку. Полоса, покрытая песком, тянулась в неизмеримую даль, пропадая в утренней дымке; её обрамляли странные деревья с жёсткими вроде лакированного картона глянцевитыми листьями…

Не знаю, сколько я так прошла. Я видела какие-то деревянные обломки, расколотый остов сундука, потом подвернулся кусок ростральной фигуры, изображавшей святую Жанну в венце из лилий, со свечой в руках, – от неё остались лишь голова и кусок плеча с рукой, заканчивающийся свежим жёлтым расщеплённым деревом. Что-то тёмное, неясных очертаний, вблизи вдруг оказалось мертвецом.

Я, шатаясь, подошла ближе. На песке лежал матрос с нашего корабля, это очевидно – но я не смогла его узнать: от его лица осталась зияющая рана, а кусок черепа надо лбом откололся и свисал в сторону. Внутри его головы уже копошились какие-то мерзкие многоножки, а те, с лапами, похожими на клещи, отрывали кусочки мозга и красного мяса.

Это ужасное зрелище привело меня в себя, как пощёчина. Я поняла, что осталась на чужом берегу совсем одна, уцелев чудом, какой-то капризной вышней волей, возможно – про-

мыслом Господним. Что никто из моих слуг меня не найдёт, не напоит, не предложит сменить бельё и не устроит на ночлег.

Мне захотелось громко рыдать и выть в голос, ужас сжал моё сердце – но уже появившийся за время плавания здравый смысл подсказал, что слезами я лишь обессилю себя. Я отвернулась от мертвеца, который занимал весь мой рассудок, и смогла подумать, сообразив, что от моря нужно убираться.

Пресная вода найдётся там, в роще лакированных деревьев, сказала я себе – и, еле переставляя ноги, увязающие в песке, побрела прочь от кромки прибоя. Солнце поднималось всё выше, песок нагрелся; туфли я потеряла ещё в воде, и моим босым ступням становилось горячо.

Вскоре песчаный пляж кончился, но колючая жёсткая трава оказалась совершенно нестерпимой для моих ног. Я наступила на странную вещицу, похожую на колючий шарик, впившуюся в ногу очень больно – и упала-таки. Нигде под деревьями не было воды. Я не знала, что делать дальше, и, решив полежать и отдохнуть несколько минут, заснула или впала в беспамятство.

Я не помню, как люди нашли меня на берегу. Мои истинные воспоминания путаются с лихорадочным бредом, который тогда овладел моим разумом. Я вспоминаю, как кто-то лил воду на моё лицо и как это было восхитительно приятно – и тут же мне кажется, что рядом со мной сидела бронзовая дева, положив свою узкую холодную руку на мой горящий лоб. Меня куда-то несли; я лежала головой на плече, от которого сильно пахло растёртой геранью и потом. Кто-то снимал с меня заскорузлые тряпки, составляющие мой костюм – и я не чувствовала ни страха, ни стыда, лишь смутно отмечая чужие прикосновения к моему телу.

Впрочем, эти прикосновения не были грубыми или непристойными. Чьи-то руки отмыли меня от соли, – у меня не хватало сил открыть глаза, чтобы увидеть, – а потом приподняли и уложили на мягкое. Вокруг стояла блаженная прохлада, пахнущая незнакомо, но приятно; я чувствовала на своих губах чуть горьковатую жидкость, от которой постепенно уходила жажда.

Потом я, вероятно, погрузилась в глубокий сон.

Я проснулась от голосов и смеха вокруг. Открыв глаза, осознала, что нахожусь внутри человеческого жилища.

Помещение оказалось довольно просторным и пустым, не считая тюфяков, постеленных прямо на полу, потёртого ковра с густым ворсом и целой груды подушек. На одном из тюфяков, прикрытая пледом или, лучше сказать, простынёй из лёгкой ткани, лежала я. Солнечные пятна, тусклые, но горячие, как бывает вечером в погожий день, колебались на пёстрых узорах ковра рядом с моей головой; они падали от небольшого окна, забранного ажурной решёткой.

На подушке около меня сидела, поджав ноги, девушка. Стоило только взглянуть на неё – и я сразу вспомнила, где нахожусь. Это чужая страна. Это чужой мир. Это чужая девушка, совсем чужая.

Совсем чёрная, но не такая, как обожжённые солнцем крестьяне, не такая, как обветренные матросы с огрубелыми лицами. Её лицо выглядело нежным и свежим – но всё равно было чёрным, вернее, имело удивительный и прекрасный цвет эбенового дерева. Черты, довольно приятные, но резкие, несли заметный отпечаток нездоровья; большие глаза, тёмно-золотые, в длинных ресницах, смотрели со скрытой печалью. Волосы, богатые и тяжёлые, вороные, как грива породистой лошади, она зачем-то остригла по плечи, – не длиннее, чем у мужчины-аристократа, – и неуложенные пряди выглядели небрежно. Ещё заметнее портил её какой-то каббалистический символ, начертанный чёрно-синим на лбу между бровей: многоугольная звезда размером с медный пятак, окружённая знаками, похожими на астрологическую тайнопись.

Вероятно, подумала я, эта девушка – ведьма. В стране дикарей, лишённых спасения души, такое вполне может статься.

Надлежало бы испугаться, но не получилось.

Милое личико девушки так заняло моё внимание, что я не сразу отметила безобразие её фигуры – болезненно худой, с длинной шеей, острыми плечами и совершенно плоской грудью. Странный костюм, состоящий из рубахи-распашонки и широких штанов, безобразил её ещё больше.

Увидев, что я очнулась, девушка грустно улыбнулась, обозначив ямочки в уголках губ, протянула мне чашку с желтоватым травяным отваром и что-то ласково сказала. Её голос был мягок и высок.

Я улыбнулась в ответ, взяла чашку – и только тут окончательно осознала, что кроме нас в комнате есть ещё девушки, совершенно другого типа, вовсе не похожие на мою печальную покровительницу: это их голоса разбудили меня.

Сообразив, что я уже очнулась, эти другие подошли поближе, расселись вокруг на подушках и принялись очень бесцеремонно меня разглядывать, обмениваясь при этом весёлыми замечаниями на том же, непонятном для меня, языке. Они все были такие же эбеново-чёрные, как первая, но на этом сходство и кончалось.

Вся компания девушек – а их было пять – отличалась отменным здоровьем и бойким нравом, что весьма бросалось в глаза. Их роскошные волосы – а волосы выглядели роскошно у всех, такие же вороные, тяжёлые и блестящие – низвергались к лодыжкам водопадами косичек; точно такая же причёска была у девы-зверя. Их тела выглядели так же великолепно, как косы: округлые груди, еле прикрытые чем-то вроде коротких корсажей, вышитых бисером, бёдра, обтянутые атласными штанами, открытые животы – всё это просто ослепило меня. Раньше мне не случалось видеть, чтобы кто-то из женщин так явно выставлял себя напоказ. Вдобавок они обводили свои тёмные глаза чёрной и золотой краской, а губы и ногти красили в ярко-алый цвет.

Бедняжка, поившая меня отваром, выглядела жалкой замухрышкой рядом с этими вызывающими красавицами – но она казалась добрее, чем прочие. Когда красавицы принялись обсуждать меня, худышка попыталась их урезонить.

Здешний язык совершенно не напоминал ни наш, ни тот, которому меня учили для Трёх Островов. Впрочем, я отлично понимала, о чём при мне беседуют: выражения лиц, тон и жесты были вполне красноречивы.

Красавицы потешались над моей бледностью и белокурыми косами, которые, вероятно, казались им непривычными и безобразными – а может, они просто хотели дать мне понять, что необычной внешностью я ничего не выиграю. Моё незнание их речи, похоже, тут сочли беспросветной глупостью, а моё появление на берегу – чем-то неприличным. Показывая пальцами на мои искалеченные руки, на мои синяки и ссадины, девушки потешались надо мной так, будто я отсутствовала в комнате, громко смеясь над моим огорчённым смущением.

Худышка – её называли Шуарле – сперва спокойно и любезно что-то объясняла, потом рассердилась и чуть повысила голос. Тогда красавицы принялись высмеивать и дразнить её, а в их голосах появились откровенно злые нотки. Одна из них, высокая статная девушка с естественной родинкой именно в том месте на груди, куда пикантнее всего приклеить мушку, с надменным смехом высказала что-то, по-видимому, страшно обидное, а её товарка, пышечка, яркая, как георгин, замахнулась на худышку подушкой.

Вот тогда и случилось нечто чрезвычайное.

Шуарле резко повернулась к обидчице – и я увидела, как меняется её лицо. Миг – и оно стало почти страшным: кожа блеснула металлом, глаза пожелтели и вспыхнули, волосы будто раздул внезапный порыв ветра. Самый воздух вдруг похолодел и пахнул грозовой свежестью.

Девушки шарахнулись. Пышечка процедила сквозь зубы какую-то явную угрозу. Маленькая девушка, вся обвитая ожерельями и браслетами, выскочила за дверь. Тёмная волна, захлестнувшая Шуарле, схлынула, бедняжка, вернувшись в свой обычный вид, похоже, уже раскаивалась в собственной несдержанности, но красавицы убрались подальше и враждебно косились в нашу сторону.

А я, увидев явное проявление ведьмовства, – чем же ещё можно объяснить такое диво? – отчего-то не почувствовала ни страха, ни отвращения. Напротив, мне хотелось сказать что-нибудь ласковое; я протянула ей руку, Шуарле в ответ накрыла её своей ладонью, слишком большой для того, чтобы быть красивой, но длиннопалой и узкой. В этот миг в комнате появилось сопровождаемое девушкой в ожерельях новое лицо.

Его вид показался мне отвратительным и смешным. Человек этот, к нему обращались как к Биайе, был высок, необъятно толст и рыхл; его щёки свисали к подбородку, а под подбородком висела ещё пара подбородков наподобие индюшачьего зоба. Глазки заплыли жиром, роскошная шевелюра вовсе не украшала обрюзглого злого лица. Его одежду составляли широчайшая распашонка и ещё более широкие штаны – как у Шуарле.

К моим щекам прихлынула кровь, так что стало жарко. Я поняла.

Как и вошедший толстяк, «бедная худышка» оказался не девушкой, а кастратом, только, в отличие от вошедшего, Шуарле был совсем юн, не старше меня, и его отвратительный изъян ещё не успел совершенно изуродовать его тела. Я содрогнулась от жалости и ужаса.

Дома ещё в детстве мне случалось видеть кастратов при дворе. Я не слишком хорошо понимала частности проделанной над ними процедуры, но точно знала, что эти несчастные – не мужчины и не женщины. Наши соседи, жители Солнечного Мыса, считали модным развлечением их пение; я не слыхала, но мать как-то отозвалась о таком же обрюзгшем толстяке, как этот вновь появившийся, с большой похвалой, как о замечательном певце. К тому же на уроках землеописания мне читали, что женщинам дикарей прислуживают кастраты, это известный местный обычай – да, правда, но как чудовищно!

А толстяк принялся распекать Шуарле визгливым фальцетом, в моём понимании никак не подходящим для ангельского пения. Он пищал и брызгал слюной, побагровел – и говорил, кажется, отменно обидные вещи, потому что глаза Шуарле влажно блеснули. Толстяк вопил, «бедная худышка» собирался расплакаться, а красавицы исподтишка потешались над обоими. Возможно, разумнее всего было бы промолчать, но я не выдержала.

Я поднялась с постели, укутавшись в простыню, заслонила своего покровителя-неудачника собой и сказала толстяку, как сказала бы провинившейся фрейлине, вежливо, холодно и как можно внушительнее:

– Почтенный, мне кажется, кричать недостойно. Пожалуйста, не обижайте Шуарле: он всего лишь хотел защитить меня от насмешек.

Толстяк замолчал. Красавицы глядели на меня во все глаза.

– Я вам очень признательна, – сказала я с самой милостивой улыбкой. – Вы поняли меня совершенно верно. А теперь – не могли бы вы принести мне поесть? Поесть? Я голодна.

Толстяк ошалело уставился на меня. Я указала пальцем на рот – Шуарле улыбнулся и кивнул. Он вышел из комнаты вместе с толстяком, а вернулся один, принеся белый хлеб, испечённый в форме плоской лепёшки, мёд и самые прекрасные персики из всех, какие мне доводилось видеть. Когда я поела, он же принёс мне одежду – странную, но удобную здешнюю одежду, какую носили все женщины в этом доме, а потом помогал мне расчесать и заплести косы. И всё время, пока Шуарле сидел рядом со мной, я чувствовала его спокойное участие: он с необыкновенной лёгкостью понимал меня без слов.

Накануне я потеряла свою свиту, а в тот день обзавелась преданным подданным. Тогда перспективы казались нереальными, даже безумными, но впоследствии Шуарле, Одуванчик

на моём родном языке, стал моей фрейлиной, моим камергером, моим пажом, наперсником и товарищем.

И он был вовсе не ведьмак. Он был сахи-аглийе, ядовитая птица. Попросту – демон. Впрочем, это я узнала куда позднее.

Шуарле

Её нашёл Всадник.

После ночного шторма, когда в посёлке узнали, что о скалы разбился чужой корабль, туда все бегали смотреть, и дети, и взрослые. Беркут и Рассвет выпустили городских голубей; я думаю, голуби долетели быстро, потому что царские соколы прибыли на берег ещё до полудня. Говорят, они нашли несколько уцелевших белых мужчин и увезли их с собой. Не знаю зачем, но уж наверное ничего хорошего белых в нашей столице не ждало. На мой взгляд, там вообще мало хорошего. Слишком много важных господ живёт в одном месте – значит, таким, как я, и таким, как эти белые, лучше держаться подальше.

А стражники Беркута вообразили, что на этом разбитом корабле везли невесть какие сокровища. С самого утра только и разговоров было, что о сокровищах. Разумеется. Больше, чем женщины, кавойе с жевательной смолой и драки, наших шакалов интересует только золото.

Корабль разбился специально для них. Ага.

Я слышал, как они жалели, что не нашли белых раньше царских соколов. Ирбис даже считал, сколько золотых можно было бы получить, если продать такого в каменоломни, а сколько – если кто-нибудь из господ решит купить раба для себя лично. Много получалось. Поэтому шакалы сильно огорчались, что царские соколы их опередили.

А золото, если и было, – утонуло. Интересно, шакалы ждали, что оно приплывёт к ним поверх воды? Услышь, Нут, – дуракам нет числа на свете!

Ирбис, когда, наконец, сообразил, что денег ему не видать, с досады напустился на меня. «Одуванчик, тебе делать нечего? Специально тут торчишь? Сглазил нашу удачу, да? Сглазил?» И Гранит, этот вонючий ишак, который вопит по любому поводу и без повода вообще, тут же встрял со своими «сюси-пуси, Одуванчик, если тебе нечего делать, может, придумаешь, чем меня порадовать?»

Надеюсь, аманейе за рекой его порадуют. А я им лично подскажу, за какое место его лучше подвесить.

Бить меня они остерегаются. Жасмина лупили почём зря, просто развлечения ради – теперь, наверное, жалеют, что он удавился и им не на ком оторваться. Жаворонка им, видимо, бить неинтересно, он – как старый мерин, которому всё равно, чмокают ему или хлещут кнутом; счастливчик. Подснежник – доверенное лицо Беркута, он сам может кому угодно вломить или налить хозяину в уши, что его солдаты плохо себя ведут; с ним считаются. Да и что за интерес его пинать – всё равно что квашню с дрожжевым тестом.

На моё счастье, шакалы всё-таки не верят до конца в это подлое клеймо на моём лбу. Они знают, что сила аманейе иногда просачивается, когда я злюсь, – и боятся, что я их прокляну или наведу порчу. Дураки деревенские. А я иногда поднимаю руку и показываю им кончики пальцев: мол, двумя закрою ваши глаза, двумя – ноздри, одним – рот, а прочее земля покроет. Старинный жест сахи-аглийе, они тут же всё вспоминают и не рискуют всерьёз нарываться. Только Гранит, грязная мразь, иногда расплывается слащавой мордой и пытается меня хватать – «я же с лучшими чувствами, Одуванчик!» Я бы забил ему его лучшие чувства в глотку до самой печени, будь у меня столько сил, как они предполагают.

Пока шакалы огорчались и сетовали, что им не отломилось от этой лепёшки, я пошёл на тёмную сторону, заваривать траву ти для рабынь. Оказывается, рабыни тоже болтали об этом несчастном корабле; они тут же принялись расспрашивать меня, не видал ли я чего замечательного. Я даже пожалел, что не видал: можно было бы по-человечески поговорить.

С рабынями у меня отношения разные, со стражей – одинаковые. Поэтому женщин я тихо и спокойно не люблю, иногда они мне почти милы, а мужчин почти всегда смертельно ненавижу. Бывает, устаю ненавидеть – но и тогда им не верю. У всех людей есть какие-то тор-

моза внутри – у меня их отрезали, я мечусь из крайности в крайность, бросаюсь в ярость или в слёзы, окунаюсь в апатию, это для мужчин смешно. Поэтому лучше как можно меньше себя показывать.

Я хожу вдоль стен, стараясь с ними слиться. Если срываюсь – получаю пинка, не столько от людей, сколько от Нут. Она хочет, чтобы я лучше владел собой. Я стараюсь ей угодить, она всегда права – она с некоторых пор заменила мне мать.

Мне не было дела до этого корабля, до утопленников и их золота. Меня вообще мало интересует золото: что я такое могу на него купить, в сущности? Вот Подснежник – вольноотпущенник, богат, и что с того? Смотрю на него – а он смешон и гадок, разжиревший самодовольный холощёный баран. Смотрю на него – и не могу есть, боюсь стать таким же. Не хочу выслуживаться перед Беркутом: низко, хотя он вроде бы не самая гнусная дрянь из всех моих хозяев. Про меня говорит «гордый, всё-таки заметно, что он аманейе» – и не даёт ни гроша, а из дома старается не выпускать в принципе. Гордый – это плохо, ага.

Я раб для сравнительно чистой работы. Я должен радоваться, что отхожие места чистят более дешёвые рабы, чем я, – но мне всё равно.

Я пил отвар ти и слушал, как рабыни болтают о ерунде, когда Подснежник заверещал с мужской стороны, что ему нужна моя помощь. Я вышел и увидел, что Всадник принёс женщину, чужую женщину с берега. Рожа у Всадника излучала такое самодовольство, что мне захотелось немедленно скормить ему лимон. Целиком.

Беркут вышел поглядеть. Она выглядела очень дорого, эта женщина, даже сейчас, полумёртвая, вся покрытая солью, лохматая и ободранная, в каких-то гадких тряпках. Она была такая беленькая… похожая на белого котёнка, который провалился в корыто с коровьим пойлом и еле вылез: жалкая и трогательная. И у неё в ушах были дырочки для серёг, а на ободранных пальцах – она, наверное, хваталась за что-то, чтобы не утонуть, – виднелись светлые полоски от колец. Кольца с серьгами Всадник, конечно, украл – а я сделал вывод, что бедняжка носила вовсе не медную проволоку.

Всадник, разумеется, запросил – о-го-го. Можно купить кусок ущербной луны за такие деньги. Беркут засунул пальцы за поясок и скинул на две трети: мол, девчонка-то умирает, вот-вот совсем умрёт. И тут встрял я, сказал, что надо её отмыть и дать ей водички, а потом уже торговаться: мне вдруг стало её жутко жаль. Уже не ребёнок, нет, ей замуж пора было год-два назад, но – она выглядела как-то совсем особенно. По-детски чисто.

Беркут взглянул на меня и вроде сообразил, что в предложении есть смысл. Велел мне и Подснежнику нести её на тёмную сторону и приводить в чувство – а сам уж остался торговаться с Всадником дальше. Я так и не поинтересовался узнать, к чему они пришли: Всадник с того же дня бросил службу и уехал из посёлка. Впрочем, это на её серёжки-колечки, не на плату за её жизнь, я так думаю.

Я её вымыл. Было тяжело и приятно на неё смотреть… тело бело-розовое, молодой яблоневый цвет, кожа нежная на удивление – вся в синяках и ссадинах, но всё равно видно, насколько богато это выглядит… грудь – как сливки с карамелью, надо сдерживать желание узнать, сладко ли на вкус… Когда я отмыл её волосы от соли и засохшей пены, они оказались цвета белого золота, очень мягкими – и завивались ягнячьими колечками. Ресницы длинные, светлые… Совсем неяркая девочка, но в этом и есть главная прелесть: неяркая, степной нарцисс – из тех, что нежнее пионов. Глаза оказались кошачьи, вернее, молочного котёнка – голубовато-серые, круглые. Пару раз приходила в себя, смотрела сквозь ресницы, слабо улыбалась, бормотала что-то сипло…

Она выпила большую чашку холодного отвара ти, по чуть-чуть, и съела капельку мёда. Я с ней целый день провозился, свалил все дела на Жаворонка. Рабыни только фыркали. Она им жутко не понравилась, понятно: выставь их всех на торги, так все покупатели смотреть будут именно на неё. Бедняжка им цену сбивала.

Лилия, девка сильная и жестокая, которая уже всё для себя рассчитала, только базара и ждала, чтобы найти кого охмурить, так и резанула общую правду всех рабынь Беркута: «Зря ты с ней нянчишься, Одуванчик, пусть подохнет, так всем лучше будет». Я разозлился. «Её, милая, купит не деревенский меняла, такому она не по карману, – говорю, – её купит князь, так что тебе она дорогу не перейдёт». Лилия взбесилась, наговорила мне гадостей, сколько придумала, её приятельницы ещё добавили… весёлый вечер.

А беленькая уже ближе к закату очнулась. Тихонько. Взглянула на меня и улыбнулась. Я говорю: «Тебя, наверное, зовут Яблоня, да?» – а она вообще не понимает, видно по глазам, но улыбается, как маленький ребёнок. Ласково.

Лилия, разумеется, не смогла этого стерпеть. «Не Яблоня, – говорит, – а Белая Коза её зовут. Кошка ошпаренная. Больше с ней возись, бесхвостый пёс! Кому она нужна, немая дура?» И все её подхалимки тут же принялись хихикать и поддакивать.

Надо было бы держать себя в руках: собака лает – ветер носит. Но это иногда от меня не зависит – я сам удивился, когда почувствовал, как медь аглийе просачивается через мою кожу. Рабыни завизжали, Лилия отослала Фиалку за Подснежником – жаловаться, что я нарочно их пугаю и измываюсь над ними, чтобы к базарному дню они дурно выглядели; мне уже было стыдно и противно за эту вспышку, а обратно ничего не повернёшь.

Подснежник, похоже, с горечью думал о деньгах, которые Беркут отдал за беленькую – с ходу пообещал, что следующее клеймо сам лично вырежет у меня между лопаток. Бараньим ножом. А беленькая вдруг его отчитала.

Она встала. Я видел, что её качает, ножки еле держат – но она встала, выпрямилась и высказалась, так славно, что я чуть не расплакался. Я понял: ей в том краю, откуда приплыл корабль, служила сотня таких, как Подснежник, а может, и мужчины склоняли головы и закрывали глаза рукавами, когда она выходила. Говорила без всякой злости. Спокойно, снисходительно. Она ему приказала не орать на меня – хотя имя «Одуванчик» произнесла как «пух», наверное, с непривычки.

Я догадался, что беленькая – княжна чужаков. Настоящая княжна, услышь, Нут – как мне вдруг захотелось при дворе её отца или мужа приносить ей на рассвете кавойе с мёдом! И одевать её в шёлк и золото, косы ей плести, касаться её… понесло, ага.

Глупо и непристойно об этом думать – но ведь беленькая сама взяла меня за руку.

И я подумал: «Моя госпожа»…

Я называл её Яблоня, она меня – Одуванчик, когда умела выговорить. Если у неё не получалось, то – Пух или Крот, но она не знала, что это так звучит.

У неё было другое имя – какое-то шмелиное жужжание. Мне не нравилось её так звать – я и не звал, а другие переняли у меня. Она не рассердилась.

Она попросила поесть – и я её кормил. Потом одевал и заплетал, и она дала мне свои волосы, как княжна – своему любимому евнуху, спокойно. Всё время улыбалась мне; сидела рядом, перебирала мои пальцы. Рабыни просто ядом исходили: женщин бескорыстно бесит, когда на них не обращают внимания. А Яблоня всё понимала; её личико становилось безнадёжно-печальным.

Ночью не могла заснуть. Я открыл дверь, ведущую в женскую часть сада, вышел посмотреть на луну – и она пошла за мной. Мы смотрели на звёзды, на Ожерелье Нут, как влюблённые – смешно…

Яблоня со мной заговорила. Понять её было тяжело – но аманейе могут слышать голос души, это делает несколько понятнее слова, сказанные языком. Она спросила:

– Пух, что со мной будет?

Я не знал, как ей объяснить, подумал. Принёс ленту для волос, взял её за руки, сложил вместе запястья, сделал вид, что собираюсь связывать:

– Ты уже не свободна, понимаешь?

Она кивнула. Я чуть-чуть нажал ей на плечи – села на порог, а я хотел, чтобы встала на колени:

– Рабыня.

Она снова кивнула. И её личико затмилось, словно луна ветреной ночью. Я положил на ладонь метёлочку травы – и сдул:

– Вот – наши жизни. Понимаешь?

Яблоня кивнула и выпрямилась. И сказала – могу поклясться своим потерянным полётом:

– Княжна не может быть рабыней, – гордо, грустно, горько.

Не может, ага.

Я тронул её пальцы, эти светлые полоски от перстней.

– Где твои сокровища, княжна? Где твоя свобода? Разве нас с тобой кто-нибудь спросит?

Её глаза повлажнели. Я думал, что она заплачет – нет, лишь качнула головой, с тихим упрямством. Взяла меня за руку – нежной тёплой ладошкой. Указала пальчиком на луну:

– Что это, Пух? Как это называется?

Я стал учить её выговаривать «как называется», потом – «луна». Потом мы говорили слово «Одуванчик» – стало получаться с десятого раза. До рассветной зари Яблоня выучила много слов – и стала улыбаться гораздо веселее.

Яблоне приходилось нелегко в доме Беркута: она не умела жить, как все наши женщины. Рабыням она не нравилась, да и сама невзлюбила Лилию. Лилия время от времени принималась орать на неё, уперев руки в бёдра – а Яблоня очень кротко стояла напротив, смотрела с жалостью, огорчённо или норовила тихонько улизнуть; доводила Лилию до бешенства. Я видел это впервые: прирождённая княжна, тихая, гордая – и девка, рождённая другой девкой. Очень заметная разница.

В саду Яблоня жила больше, чем в комнатах. Она бродила среди цветов целыми днями; я чувствовал, как ей скучно. Она развлекалась, обучаясь нашим словам, и мало-помалу начинала говорить понятно. Ещё моя госпожа, ученная грамоте, хотела бы почитать книжку – но книжки в доме у Беркута отродясь не водились. Иногда ей хотелось вышивать или рисовать; я вечно ругался с Подснежником, но нам не дали ни ниток, ни прочих женских пустяков. Другие рабыни предпочитали болтать, петь, умащать волосы, разминать друг другу спины, тянуться и танцевать для гибкости тела. Утренний Мёд, охотница до низания бисером, заявила, что бисер, нити и иглы – её, делиться она не станет. Для Яблони никто не желал тащиться в жару до города, где есть лавки с товарами для рукоделия.

Я попытался подольститься к жёнам Беркута, но младшие жёны побаивались меня, а старшая решила не делать любезностей Яблоне: если бы не цена моей беленькой, Беркут оставил бы её себе. Старая карга шипела на меня гадюкой, а Беркут смотрел на мою госпожу и сально ухмылялся. Пропитывал бородку маслом герани, морда лоснится, волосы лоснятся, атласная рубаха на пузе натянута… достопочтенная купеческая наружность – с души воротит. Явно считал себя красавцем мужчиной.

Надеюсь, что за эту ухмылку и гнусные мысли его распилят за рекой тупой пилой. Вдоль, ага.

А ещё Яблоня рассказала мне, что ей снится Нут. Вот такие дела.

Она вообще не знала, кто такая Нут – Госпожа Судьбы, играющая случаем, Насмешливая Мать Событий. Называла её «женщина-кошка», говорила, что Нут показывала две шестёрки! Самое лучшее предзнаменование, самое счастливое. Яблоня не верила; говорила, что у неё было слишком много бед и слёз в последнее время. Я с ней спорил – как можно не верить в милость Нут?! Конечно, у северян другие боги, но богов много, а Нут одна. Другие боги

строят судьбы смертных, что-то придумывают, выгадывают, воздают по заслугам или карают злодеяния, а Нут только бросит свои кости из чисто кошачьей шаловливости – и все божественные планы канули в бездну. Нищий бродяга делается царским советником, отшельник святой жизни глупейшим образом влюбляется в юношу, богач, который только не гадил золотом, побирается с сумой – и всё это шуточки Нут; кому – власть над миром подзвёздным, кому – клеймо на лбу…

Сильнее богов – её каприз, её игра, очки у неё на костях. И я пытался втолковать Яблоне, что она – избранная, моя госпожа, любимица Судьбы: сильные воины утонули, а её выбросило на берег. И ещё неизвестно, как дальше кости лягут.

Но Яблоня спорила и в конце концов спросила:

– А для чего я здесь вообще? Зачем Беркуту женщины? Мы же ровно ничего не делаем! Он спас меня по доброте душевной или женщины его развлекают, как котята? Ведь от нас нет никакой пользы!

– Никакой пользы, – сказал я, – зато вы принесёте ему золото. Скоро будет базар в Данши-Вьи, Беркут отвезёт вас туда и продаст. Ты дорого стоишь, Яблоня, ему нет резона продавать тебя на побережье. За тебя он хочет много золота – другие стоят дешевле. Тебя продадут кому-нибудь очень богатому.

Она так растерялась, смешалась, что у меня закололо сердце:

– Я же ничего не умею! Богатому человеку нет во мне прока!

Девственница, подумал я. Яблоня – девственница. Услышь, Нут…

– Ночные утехи, – сказал я. – Знаешь, что это такое?

Ужаснулась. Вот так. Не то чтобы смутилась – хотя была очень скромна – а прямо-таки ужаснулась, будто я сказал, что будут резать на части живьём. Вспыхнула – и разрыдалась. Схватила меня за руки, уткнулась в мои ладони мокрым личиком, обожгла дыханием… так плакала, что у меня разболелось под лопаткой.

Я тронул её волосы – чуть касаясь:

– Яблоня, слёзы не помогают рабам. Слёзы не защищают женщин.

Она подняла головку, посмотрела на меня своими мокрыми глазами – ресницы слиплись стрелами – и выдала:

– Да, я знаю. Женщин не защищают слёзы, их защищают мужчины. Одуванчик, дома я могла рассчитывать на многих мужчин: на родственников, на слуг отца – а тут у меня нет никого, кроме тебя. Можно мне на тебя рассчитывать?

Убила. Я тут же захотел сцарапать это клеймо со лба вместе с кожей – чтобы унести её отсюда на крыльях… вообразил, что смогу, ага. Сказал злее, чем надо:

– Яблоня, я не мужчина, я – бесхвостый пёс.

А она, глядя мне прямо в душу, сказала:

– Ты – мой единственный друг. Ты – не такой, как все здесь. Пожалуйста…

Интересная вещь: если у неё совсем нет когтей, то чем это она так вцепилась в моё сердце? А?

Потом мы с ней разговаривали по ночам. Сон у меня отшибло поленом, напрочь. Весь день я бродил как очумевший или бесноватый, «подай-принеси» – и всё равно, что они все там орут, а ночью я в сад, и она за мной. Садилась рядом, обнимала за плечи. Выносить такие нежности тяжело, скинуть её ручку невозможно. Сама не понимает, что делает.

Я ей как-то сказал:

– Ты жестока, как все женщины. Моя душа до тебя спала себе – а ты её будишь. Мне больно.

А она посмотрела, не с жалостью, нет – всепонимающе, как воплощение Нут, и ответила:

– Я не жестока, Одуванчик, прости. Просто боюсь. Я не могу жить, как эти девицы, и позволять кому попало обнимать себя. Знаешь, у меня же есть жених, он северный князь, – или она сказала «сын царя»? – это он должен меня обнимать!

– Я понял, – говорю. – Но твой жених далеко, а тут мы – вещи Беркута. Чем я могу помочь?

Вот тут она и выдала. Взяла меня за руки, прижала их к своей груди, смотрит, как перепуганный младенец, умоляюще, и говорит:

– Выпусти меня отсюда, пожалуйста! У тебя же есть ключи, ты ходишь по дому – выпусти меня, помоги сбежать!

И что я мог, шалея от стука её сердца, ответить этой бедной дурочке? Куда она побежит, такая белая и приметная, как голубок среди ворон? Далеко ли добежит? А когда с человека сдирают кожу заживо, он очень нескоро умирает. Иногда часами мучается. Ведь вовсе не обязательно, что кто-нибудь пожалеет и прирежет, услышь, Нут!

– Нас с тобой убьют, – говорю. – Мы, конечно, умрём свободными, но это будет очень больно.

А она сжала кулаки:

– Почему это Беркут решил, что мы его собственность?!

– Заплатил деньги, – говорю. – За нас с тобой. Как за скот. Он заплатил – мы и принадлежим.

– Я была ничья! – возразила она. Как мило сердилась: только глазами блестела, даже голос старалась не повышать. Ну как ей объяснишь?

– Женщины и евнухи не бывают ничьи, – объясняю. – Они как монеты: если хозяина нет, значит, любой может подобрать.

Фыркнула, как котёнок:

– Беркут меня не спросил, чего я больше хочу: умереть или стать его рабыней!

Девочка, девочка… Кто кого спрашивает? Что ты там видела, у себя в северной стране, во дворце своего отца?.. Мне было её никак не вразумить. Она каждую ночь пробовала снова и снова. Целый день молчала и терпела, а ночами принималась меня мучить.

Приходила и обнимала. Шептала на ухо – жарко:

– Ты представь, мы раздобудем карту землеописаний. Я умею читать знаки. Или вот. Мы найдём моряка, который довезёт нас до моей северной страны. Мой отец – царь, мой свёкор тоже будет царь…

Я отвечал почти зло:

– У меня крыльев нет!

А сам думал: посмотрела бы ты на меня под этими тряпками! На моё раскромсанное ничтожество! Ну зачем, зачем, зачем я тебе сдался! Самому хотелось плакать навзрыд: люди – гады, гады, гады! А Яблоня гладила мои руки, волосы перебирала, смотрела прямо внутрь – и говорила так, что меня бросало из жара в холод:

– Ты – мой друг! Пожалуйста, не плачь. Знаешь, как славно у меня дома? Все будут тебя уважать. Ты сможешь заниматься, чем захочешь… Вот чем ты хочешь? Музыка… ты любишь музыку? Можно целыми днями слушать, а ещё мы будем слушать, как читают самые лучшие книги… я буду рисовать… мы заведём маленькую собачку, самую милую… а потом у меня родятся дети, и мы будем их нянчить, да? Но я не смогу без тебя. Ты сам сказал: женщина не может быть ничья.

– И не может быть моя, – отвечал я. Что ещё скажешь?

– Ну и что?! – возражала она. – Ты мой слуга. Я принцесса. Ты сопровождаешь меня к моему жениху. Так ведь можно?

Вот же нелепый ребёнок! Ведь верит, что серебряные лиур-аглийе, ростом с воробья, со стрекозиными крылышками, ночью положат ей в туфлю бусики, если она будет целый месяц и день слушаться старших!

– Так – можно, – говорю. В душе – плача, смеясь, досадуя.

Она радостно схватила меня за плечи:

– Значит, ты поможешь мне?

А я промолчал в ответ, как дурак. И самое худшее во всём этом безобразии – то, что я начал принимать всерьёз её бред о побеге, о свободе, о прекрасной жизни в далёких странах… Яблоня так вела себя со мной, что я ухитрился почувствовать себя мужчиной. Её мужчиной. Её защитником.

Слабоумный, ага.

Это, конечно, не могло продолжаться бесконечно, а Яблоня думала, что может. Она даже, кажется, привыкать начала. Днём дремать, ночью убивать меня своими ласками.

Какие слова говорила… как по книжке! Про свою северную страну. Какие там леса, тёмные, страшные, полгода стоят в снегу, будто на ледниках – а под снегом замёрзшие ягоды, сладкие, как мёд, только ароматнее. Как она жила в святом месте, с благочестивыми жрицами – целыми днями молилась их северному богу, угрюмому, но доброму: что ни попроси, всё исполнит, если с верой просишь. Какой у её отца дворец: тысяча разных залов, выложенных самоцветами; ковров нет, а на полу целые картины из цветного камня. Свечи, свечи, свечи – даже ночью светло как днём: господа приходят смотреть на танцы. Как её все любили; как бросали цветы в повозку, когда она проезжала, как кричали: «Славься, прекрасная!»… А за морем у неё жених, благородный юноша – вот он сейчас ждёт, и его сердце разрывается от тревоги…

Как моё. Ну да.

– Одуванчик, – скажет, – царевна не может быть рабыней! Сбежим! Вот на море… корабль… ветер такой, брызги, волны, словно стеклянные горы… а потом наша страна! Зелёный берег, белый дворец на нём, белее колотого сахара… Ты будешь в моей свите, всегда. Приближённым евнухом, смотрителем спальных покоев, – как-то иначе, но похоже по смыслу. – Ты – мой самый лучший друг…

Лучший друг, ага. Смотритель спальных покоев. Дворец, море, царь… Какой-нибудь разжиревший в злодеяниях подонок, у которого дома полные сундуки золота и на тёмной стороне – десяток девочек вроде Яблони, только наших… И что я смогу сделать?! Ну что?!

Конечно, Беркут не торопился, потому что ждал, когда у Яблони заживут синяки и царапины на руках. И за месяц она чуточку отдохнула и отъелась, стала вылитая розовая роза ранним утром; не мог же Беркут этого не видеть! И он на неё смотрел, и Подснежник на неё смотрел, а потом, вечерком, под виноградное вино и смолу, они устроили совет и порешили, что Яблоня уже вполне готова. То, что Беркут Всаднику отдал, вернётся сторицей.

Беркут позвал меня – сложно было сделать вид, что не подслушивал, а по делу мимо проходил.

– Одуванчик, – говорит, – вот что, – и сунул в рот ещё шарик смолы, хотя уже вполне осоловел. – Завтра собираемся, послезавтра с утра выезжаем. Оденешь свою Яблоню, причешешь, вот – серёжки, – и подал серьги, серебряные, с гранатами, дешёвенькие. – Она глупая и спесивая, Подснежника может и не послушать, а тебя послушает. Ты ей наври что-нибудь, чтобы не вздумала реветь или царапаться. Иди.

Я поклонился – нижайше. Взял прах с ног.

– Господин, можно мне поехать с тобой? Яблоня привыкла ко мне, она не станет плакать – а одна может и разреветься. У неё от слёз чернеет под глазами.

Подснежник ухмыльнулся:

– Позволь, господин. Мне одному тяжело будет присмотреть за такой оравой женщин. Вообще, наши дела хороши, а будут ещё лучше; будешь скупать новых женщин – подумай о паре евнухов помоложе. Ты знаешь, господин, я усерден, но уже немолод, а от Жаворонка мало толку: он уже совсем одурел от смолы, понимает лишь с третьего раза…

Беркут хмыкнул.

– Да, пусть едет. А насчёт новых я подумаю… Ну, иди же, Одуванчик, не стой как каменный!

Я пошёл. С серёжками.

Яблоня обрадовалась, когда я дал ей эти цацки.

– Жаль, – сказала весело, – если дырочки зарастут. Они ещё пригодятся… А отчего Беркут проявляет такую несказанную щедрость?

– А оттого, – говорю, кажется, в раздражении из-за этого её девчоночьего восторга перед пустяком, – что послезавтра на рассвете тебя вместе с другими рабынями повезут в Данши-Вьи, на базар. Наш щедрый господин приказал страже чистить лошадей, повозки уже готовят.

Она превратилась в статую из мела, даже губы побелели. Схватила меня за руку:

– Одуванчик, нет! – И мне в ладонь воткнулась эта дурацкая серёжка, про которую она забыла.

– Да, – говорю. – И всё, что я могу для тебя сделать, – это тебя сопровождать. Крылья у меня за это время так и не выросли.

Яблоня вцепилась в меня по-ребячьи, безнадёжно, что было сил, не плача, но судорожно дыша, почти всхлипывая:

– Как же так? – сказала еле слышно. – Ты меня отдашь? Мы расстанемся? И меня кто-нибудь… будет обнимать… как рабыню?

Я слушал и понимал, что не могу – расстаться, отдать, чтобы кто-нибудь… Я отстранил её, легонько, нерезко.

– Всё в руках Нут, – говорю, так спокойно, как смог. – Как лягут кости, так и будет.

У неё одна слеза перелилась через край и потекла через белую щёку. Тогда я подумал: мы проедем в часе-двух пути от Хуэйни-Аман. И если я совершенно ничего не сделаю, то не смогу дальше жить.

– Не надо, Яблоня, – сказал я тогда и вытер её щёку своим рукавом. – Слёзы не помогут рабыне, только развеселят её врагов. Улыбайся. Ты же царевна.

И она – улыбнулась.

Антоний

Иерарх Святого Ордена долго не хотел благословить моё решение. Не одобрял. И вдобавок давил на моего отца, писал ему, что не одобряет. К старости он стал страшным занудой.

Благословил, когда утонул корабль соседей. Отверзлись его духовные очи – и до него дошло, наконец, что уже и сам Господь посылает знамение. Отличное знамение, доходчивое. И дураку ясно: свадьбе не бывать, надлежит заниматься более важными делами. Неужели у наследного принца, прах побери совсем, не может быть более важных дел, чем вся эта возня с заботой о престолонаследии?

Я слова «престолонаследие» уже слышать без рвоты не могу!

Одна уже утонула. Всё, пора оставить это дело на некоторое время! Нет, им неймётся!

Соседи начали слать портреты возами. И его светлость Оливер, старый гриб, любимчик отца, чуть ли не каждое утро торчал у меня в приёмной с очередной намалёванной картиной. Целая толпа принцесс – и всем неймётся, не угодно ли? Принцесса Заозёрья. Даже по портрету видно, хоть и зализали до невозможности: толстая, рыжая и щёки нос задавили. Инфанты Белогорские, старшая и младшая. У них вообще грудей нет, что ли? Даже фантазия живописца не спасает: младшая – простая доска, старшая – стиральная. Ещё одна штучка со Скального Мыса. Глазки в кучку, носик остренький, как у мышки. Вот интересно, у этой ноги одинаковые или тоже разной длины?

Из Междугорья прислали портрет. Красивая… Спасибо. У этой в роду – ведьмак. Как ляжешь – так и вскочишь. Затянута в корсаж, как в мундир, но всё равно видно, какова грудь. Ранние яблочки. Смотрит прямо, глаза синие, прозрачные, усмешечка, губы яркие… общее выражение – «не хотите ли яду полной ложкой, ваше высочество?» Портрет я оставил у себя, но жениться на такой – нет уж. Женитесь сами. Пусть она вас травит или нанимает убийц. Или – вообще продаёт Тем Самым с потрохами. И ещё неизвестно, кого такая родит.

Представляете, дамы и господа: сынок – богоотступник?! Любитель мертвечинки, а?! Тебя же и прикончит, когда подрастёт – там, в Междугорье, говорят, бывали прецеденты.

Короче говоря, я отбрыкивался, как мог, а отец давил так, что не продохнуть. Такая тоска! Только я успел обрадоваться, что больше никаких обязательств на мне не висит, как целая толпа придворных холуёв уже понеслась со всех ног, спотыкаясь и падая – вешать на меня всех собак. Надоело.

Невозможно, в конце концов, всё время ждать у моря погоды.

Самое мерзкое, что все эти шлюшки – даже, представьте себе, баронессы! – начали на меня лакомо поглядывать. «Ах, ваше прекрасное высочество, я так сочувствую вашему горю! Я всей душой скорблю вместе с вами!» Какой душой? О женщине нельзя сказать «скорбит душой» и «думает головой» – за неимением того и другого!

Эти дуры решили, что у них появились шансы – выйти замуж за принца! Издохнуть! Все эти сучки младше двадцати начали носить декольте вдвое глубже. Свора на охоте. Ну я и показал им охоту.

Одной сказал: «Хочешь, чтобы я тебя любил, душенька?» – и она тут же покраснела, опустила глазки и мнёт платочек: «Ах, ведь без благословения Господь накажет!» Ах, вот как? Ну нас и благословил Альфонс, почти правильными словами, гнусаво и очень похоже. За это я ему её потом подарил. Когда она уже устала слёзы лить и дёргаться, а мне стало противно.

Второй написал письмо. Мой отец, мол, любимая, никогда не позволит настоящей свадьбы – поженимся тайно, священник предупреждён. Приходи к дворцовой часовне, в полночь, одна.

Она с матушкой приволоклась, представляете, дамы и господа! Чтобы её матушка нас благословила за моего отца! Вы можете себе представить такую безнравственную и напыщен-

ную дрянь? Эта старая визгливая свинья собиралась благословить принца за короля! У меня от такого оскорбления, почти государственной измены, случилось явственное желание приколоть их обеих – уцелели только потому, что я их пожалел. Женщины всё-таки… Старую свинью бароны прикрутили к дереву, а молодую я… потом тоже отдал баронам. И мы даже не рассказали об этом в свете – исключительно из милосердия.

Третья крутила-крутила передо мной хвостом, но на свидание не пришла. Написала записку, ах, ей не позволяет добродетель. Добродетельная. Намекать своему принцу известно на что, а потом изобразить вестника Божьего?! Мы эту добродетельную подкараулили в уютном месте, завязали юбку у неё на голове и как следует ей объяснили, что такого рода кокетство – это совершенно аморально. Добродетельна – не хихикай с мужчинами и носи закрытые платья!

Это её братец потом ткнул меня ножом. Как раз в тот день, когда жгли некромантку, прямо на площади. Представляете, дамы и господа, гад даже не попытался меня вызвать на поединок или ещё как-нибудь проявиться – просто, когда встретились на площади, кинулся, и всё. Ничего у него, разумеется, не вышло, только поцарапал. У меня хорошая реакция, и я не трус, вот что, а этот увечный умом думал, что я буду стоять столбом! Да его тут же скрутили бароны – они бы его в клочья порвали, если бы я не остановил. Уже стража неслась, распихивая толпу, но я всё равно спросил, отчасти из благородства, отчасти – просто чтобы понять:

– Ты, падаль, как же сумел настолько забыть дворянскую честь, чтобы нападать со спины, как последний выродок?

Жерар сунулся ко мне с платком, лица на нём не было:

– Ну что вы, прекрасное высочество, бросьте – кровь у вас!

Я его отстранил. Было жутко интересно, что этот смертник скажет. Он и высказался:

– Небо не позволит тебе стать королём! Таких, как ты, убивают без церемоний…

Но на этом месте его заткнул командир стражи. Видимо, перепугался, что иначе я прикажу перезатыкать всех, кто это слышал. Навсегда.

Я не стал спорить. Я понял, что ничего по существу он не скажет, а слышать только грязные оскорбления из обычной злобы не было никакого резона. И когда мне сказали, что отцу обязательно надо сообщить, тоже уже не спорил.

А отец, вместо того чтобы хоть чуть-чуть снизойти, наорал. Даже вспоминать не хочется.

Мои приключения не доведут меня до добра. Я не знаю, куда себя деть от безделья. Пусть я немедленно отошлю эту мерзкую собаку, которую я готов таскать с собой даже в храм Божий. Я безнадёжно глуп и безнадёжно упрям. Меня надлежало бы выпороть хлыстом. И – «помолчите, Антоний, вы слишком много болтаете!»

Любимая присказка отца. Стоит раскрыть рот на Совете – «помолчите, Антоний!»

Со мной – как с холуём, как с провинившимся пажом, как с бродягой, а не как с родным сыном! Унижал, как только мог. И под занавес назвал бесчувственным чурбаном. Огорчился, что до слёз меня не довёл? Ну, конечно, младшенькие уже давно бы лизали ему ручки: «Государь и батюшка, моё сердце разбито!»

Беса драного разбито! Не буду. Я не собака, чтобы валяться вверх брюхом. Ни за что не стану ползать на коленях, даже перед королём и отцом. Я-то в чём виноват?! Значит, по мнению государя, наследному принцу кто попало может гадить на голову, его можно оскорблять как угодно, хоть убивать – а он должен только кротко улыбаться и приговаривать: «На всё Божья воля! На всё Божья воля!» Ужасно умно!

Мне долго было не опомниться. Ходил как оплёванный. Мне сказали, что сумасшедшего, который кидается на принцев с оружием, четвертуют на Святого Ольгерта-Мученика, но это меня не утешило: за такие выкрутасы с такими последствиями очень и очень милостивый приговор, я считаю. Чтобы утешиться, днём возился с собаками, просто назло отцу, которого

почему-то бесит моя псарня; вечером напился в хлам с баронами – хотя не люблю слишком много пить. У будущего короля голова должна быть ясная.

Мы пили вино с Побережья. Я никак не пьянел, и веселее не становилось; говорил, помню, что гниём мы тут без толку, пытаемся что-то улучшить, поправить, а зря: никто всё равно не оценит, так молодость и пройдёт. Что мы могли бы совершать подвиги, сделать что-нибудь прекрасное, имя прославить – но так и будем ждать неизвестно чего. А свет погряз в пороке – и мы скоро разжиреем, смиримся и будем только тихо вякать: «Да, государь! Да, государь!» даже если нас назовут ублюдками в глаза.

И вдруг Жерара осенило. Истинно настоящее вдохновение нашло, как на брата Бенедикта – и даже, у меня такое чувство, то же самое вдохновение.

– Ваше прекраснейшее высочество, – сказал он и улыбнулся, – это всё – золотые слова, но ведь выход есть. Вы помните, вчера брат Бенедикт на проповеди говорил о могиле святого Муаниила? Помните ли, как ваш прадед, Фредерик Святой, привёз с Чёрного Юга священный ковчег с Оком Господним? Он, хоть и не смог отбить мощи Муаниила у неверных, так хотя бы поклонился его гробу! А наше поколение? Наши реликвии до сих пор в руках грязных язычников, над святынями надругалась всякая дрянь, а мы, вы это верно подметили, уже смирились с происками Тех Самых и выходим из себя по пустякам!

– Ха! – сказал я вдруг, просто само вырвалось, из глубины души. – Да я, будь у меня армия подвижников хоть в тысячу человек, я сам дошёл бы до Мёртвых Песков, и не то что ковчег – я сами мощи привёз бы! Вот скажи: ты бы пошёл воевать за веру, Жерар? Из этой тины, а?

Он чуть не задохнулся, когда отвечал:

– Ваше высочество! Да я умру за вас!

И Альфонс тут же добавил:

– Ваше драгоценное высочество, вы же просто звезда путеводная! Неужели думаете, что за вами мало верных людей пойдёт? Мы все готовы умереть за вас и за веру, вот увидите. Только бы вырваться из этой скучищи.

– Угу, – сказал Стивен. – Тут-то, прекрасное высочество, точно, что от скуки повеситься впору. Людишки-то – быдло, ворьё да потаскухи. Тут, хоть в лепёшку расшибись, служа Господу, – всё равно никто не почешется. Тут всем только деньги давай…

А Альфонс усмехнулся и сказал:

– Деньги сами по себе не плохи. Там, на Чёрном Юге, говорят, золото, рубины, благовония, бархат с шёлком – богатства, какие тут никому и не снились. Только здесь всякая рвань, которой у нас благоволят, сидит на заднице, прибивает грош к грошу пудовым молотом, ковыряется в навозе…

Я подумал, что Альфонс дело говорит. Завоевать славу и богатство с мечом в руках – это вам не ждать, когда с земель доходы пришлют! Война… вот оно, вот! Не то что вся эта мышиная возня: в одном кармане вошь на аркане, в другом – клоп на цепи! И не зависеть от каждого чиха Большого Совета! И никаких тебе «помолчите, Антоний»! За меня пушки выскажутся!

Жерар налил всем ещё, облокотился о стол и сказал мечтательно:

– А женщины, ваше великолепное высочество! Вы ещё об этом подумайте… Не в них, конечно, дело, языческих тварей надлежало бы привести в лоно истины… в смысле, истинной веры… но эти черномазые дикарки выделывают такие штуки… Господа, знаете, я как-то видел на ярмарке танцорку-язычницу… Как бы сказать? Стыда у этих девок нет вовсе, а тело лучше, чем у цивилизованных женщин. Они на всё, ну на всё готовы, понимаете?

Это нас проняло. Моя свита забыла про вино, а я до позднего вечера обсуждал с баронами будущий Священный Поход на Чёрный Юг. Вот это было дело! Если бы я и вправду дошёл с боями до могилы святого Муаниила! Если бы привёз его пречестные мощи в своё

королевство, и они бы упокоились в столичном соборе! Вот тогда бы все эти старые клячи из Большого Совета стали бы по-другому ко мне относиться! С должным благоговением. Восхищённо. Да что там! Я стал бы не просто королём, а великим королём! Я что, не заслуживаю памяти потомков, что ли?

Мои бароны тут же рассказали об этом разговоре своим приятелям, не удержались. Но я не стал гневаться. Даже лестно было, когда на следующий день у меня в приёмной собралась целая толпа молодых людей благородной крови, чтобы выразить восхищение моей идеей. Они рвались в мою свиту и на подвиги, чистые души! Один славный парень с нашего Севера, не сходя с места, дал обет перед Всезрящим Оком, что отправится со мной в поход, как только его благословят, а за ним – ещё человек пять. Мои бароны только поулыбались – уж им-то никакой обет был не нужен, они и так рвались в бой.

Мартин как-то ляпнул, что у королей друзей не бывает – но у меня-то они были, ещё какие друзья! Меня все любили. Потом я говорил с молодыми дворянами, которым хотелось послужить Господу, – и они все были в восторге, просто горели желанием воевать за веру. Я ходил по городу, и честные юноши смотрели на меня как на Божьего вестника. Всякая мразь теперь за версту убиралась с дороги, а девицы делали авансы с самыми благочестивыми целями. Короче говоря, дамы и господа, жизнь приобрела смысл.

Мне даже снилась эта война. Битвы с язычниками. Как я стою на палубе корабля, всё в дыму, грохот, вокруг смерть – но всё равно победа за нами. Какие-то города снились, кажется, целиком золотые. Язычницы, красивые и развратные, как демоницы. Я просыпался с сердцебиением и подолгу не мог снова заснуть – так это было здорово.

Я близко познакомился с парой старых вояк. Они на меня через некоторое время тоже молились, рассказывали всякие полезные вещи и давали советы. Отцовская политика всем нашим мужчинам посмелее уже встала поперёк горла – но говорить о таком вслух осмелились только эти двое. Конечно! Отец же только и знает, что повторять: «Худой мир лучше доброй ссоры» – что даже звучит нелепо. Я понимаю, он уже немолод, слава у него в кармане, имя он в историю вписал – теперь только и болтать в Совете целыми днями то о налогах, то об урожаях, то ещё о каких-нибудь прескучных пустяках. Или с соседями сюсюкаться. Как бы кто-нибудь не напал, упаси Бог, – придётся же отрывать зад от престола и ехать на войну, что утомительно и опасно. Нет, я его не упрекаю, ни в коем случае, я понимаю, старость – не радость, но я-то ещё мхом не зарос! А что, если я помру от холеры или от лихорадки раньше, чем стану королём?! Кто тогда обо мне вспомнит?

Надо позаботиться о славе. Там, на Чёрном Юге, за Мёртвыми Песками, есть сказочный город Саранчибат, где золото, алмазы, кровные лошади и самые прекрасные язычницы на свете – вот что я получу! Я соберу армию, поставлю язычников на колени, обращу в истинную веру, а Саранчибат будет бриллиантом в нашей короне. Моим, моим бриллиантом! Грош мне цена, если это не выйдет.

Но всё выйдет. Я не сомневался.

В город начали приезжать отважные молодые люди, подвижники и смельчаки – они были готовы часами торчать у ограды дворцового парка, чтобы увидеть меня одним глазком и прокричать, как они меня любят, преданы и готовы на подвиги. А вслед за ними в городе появились наёмники, «ветер с моря», «перелётные птахи», настоящие волкодавы, умеющие воевать лучше регулярной армии и готовые на подвиги и вообще на всё. И эти при встрече вопили: «Да здравствует его высочество святой Антоний!» – наивно, конечно, но от души же!

Только мой отец был совершенно не в восторге. В первый раз, когда я попытался с ним серьёзно поговорить, он просто заявил: «Антоний, извольте выкинуть дурь из головы!» А я так старался объяснить, всю душу вывернул, все аргументы привёл, кажется… и только и услышал, что «замолчите, Антоний!» Как всегда, зараза!

А вдогонку этому милому напутствию отец прочёл мне нотацию. Всё как всегда. Снова унижал, как мог, да ещё и с некоторой примесью ереси, будто это обычно для короля!

– Нет, – говорил он. Не изволите ли, дамы и господа? – Нет надобности вкладываться в войну на территориях, которые мы не можем присоединить, – будто святая цель надобностью не является. И ещё: – Ваш прадед Фредерик… его называют Святым, а надо бы Олухом Царя Небесного! Вместо того чтобы дело делать, таскался где-то за тридевять земель, растерял людей в якобы победоносных боях, от которых стране ничего не прибыло.

Я долго сдерживался, но в конце концов возмутился:

– А вера?! По-вашему, государь, вера – это пустой звук?! И священные реликвии не имеют значения?! Послушать вас, так подвиги Фредерика – ерунда какая-то, а ведь они вселили веру. Никто просто так не погиб, как не понять! Люди совсем по-другому стали на всё смотреть, обновлённо!

Отец и ухом не повёл.

– Вера? – говорит. – Ну-ну. По-вашему, святой мог бросить страну на вора-премьера и слабоумную жену? Нет уж, вам, Антоний, лучше его примеру не следовать. Я не одобрю этот дурацкий план.

За «дурацкий план» я разозлился не на шутку.

– Ах, вот как? – сказал я, смерив его горьким взглядом. – Значит, дурацкий? А вам не кажется, государь, что смерть Жанны – это знамение? Что сам Господь не хочет, чтобы я торчал тут с невестами и глупостями, а направляет меня в поход за веру? Вот что вы на это скажете? Не похоже?

Отец окаменел лицом. Хотел что-то сказать, но смолчал. Кажется, он ужасно разозлился, но понял, что я прав. И я решил закончить разом.

– Неужели, – сказал я, – вы хотите новых несчастий, государь?! Вот так-таки и пойти против Божьей воли?! А то, что благородные юноши уже давали обеты, и я тоже – это вам говорит что-нибудь?!

Он взглянул на меня ледяными глазами и процедил сквозь зубы:

– Ах, вот как! Ну что ж, Антоний. Я приму это к сведению. Вы можете идти. Я подумаю.

Так я победил, хоть отцу смертельно не хотелось это признавать. Потом мне сообщили, что он написал письмо Иерарху, в котором просил благословения для меня. Даже Эмиль, и тот сказал:

– Вы, дорогой братец, наверное, станете святым при жизни, – не так глупо, как обычно.

Только Мартин, как всегда, выдал нечто ужасно обтекаемое:

– Чем умирать за веру, предпочёл бы жить и верить.

Но он, я думаю, просто страшно завидовал.

Отец ни за что не отпустил бы его от себя никуда, кроме очередной дипломатической миссии. Жалкая доля для принца, как подумаешь!

Пока ждали письма от Иерарха, брат Бенедикт, как истинный подвижник, меня поддерживал, настоящая знать собирала пожертвования, а все более-менее разумные молодые люди, которых интересовало хоть что-то, кроме разной будничной суеты, только и ждали, когда поход, наконец, благословят. В столице, конечно, собралось много всякого народу: наёмники, бродяги, которые мечтали о южных сокровищах, юродивые… Так что всякая рвань вроде цеховых мастеров и купцов скулила и выла, что им страшно на улицу выйти, ха-ха! Не говоря уже о подонках, любящих противоестественные штучки, некромантах и прочей нечисти: их вообще вымело из столицы поганой метлой. В общем, атмосфера очистилась от одного ожидания. И в конце концов отец вызвал меня к себе.

– Иерарх вас благословляет, Антоний, – сказал он, едва я перешагнул порог. Без всяких «помолчите», так-то! – А в знак своего святого участия в вашем подвиге предлагает вам духовника и переводчика из личной свиты, отмеченного многими достоинствами святой жизни.

Я хотел сказать, что духовник у меня уже есть, – и не из тех, кто будет всё Иерарху доносить, – но отец, разумеется, меня слушать не стал. От даров Святого Отца нашего не отказываются. Точка.

Будто мне нужен переводчик! Я что, буду с этими погаными дикарями что-то обсуждать? За кого меня Иерарх принимает, интересно? В общем, я был страшно зол, но знакомиться с этим подарочком пришлось.

Я думал, Иерарх хотя бы солидного человека прислал, а он расщедрился на сопляка младше меня. Тощенький монашек, хлебец с водичкой, святая редька. И, что самое противное, по роже видно, что вовсе не горит верой, а предприятие дико не одобряет. Несимпатичная рожа. Я решил, что такого надо сразу поставить на место, и сказал очень холодно:

– Духовник у меня уже есть. Но раз уж тебя прислал Иерарх, я, так и быть, найду, куда тебя приткнуть.

Он зыркнул своими бесцветными глазками и передал письмо от Иерарха – мне лично. Сдохнуть можно, какая честь! Стоял и пялился, как я читаю. Иерарх там выдал, что я должен блюсти, не срамить, высоко держать, нести истинный свет – а эта блеклая гнусь, «брат Доминик», отныне считается моим советником.

Брат Доминик, а?! Ошпаренный кот ему брат! Не будь он духовным лицом, я бы ему прямо сейчас кое-что разъяснил. Любимчик Иерарха… Патлы ниже плеч, – вообще-то монахам устав не запрещает стричь волосы, – балахончик подпоясан верёвочкой, якобы смиренно, сжимает Всезрящее Око в кулаке, как послушник. Тоненькие женские пальчики в чернильных пятнах. Святой жизни, ну-ну! Да что у них, в резиденции Иерарха, нормальных монахов нет, что ли? Вот так посмотришь на такую дрянь и уверуешь в пошлые историйки о том, чем это духовенство за закрытыми дверями занимается!

– Тебе Иерарх это письмо читал? – спросил я, когда закончил.

– Он мне его диктовал, – отвечает. Голосишко петушка из церковного хора, но наглости выше головы. Просто руки чешутся ему шею свернуть. – А кроме того, его святейшество дал мне особые указания касательно мощей и документов, которые могут оказаться вашими боевыми трофеями, ваше высочество.

Меня просто затрясло от негодования.

– Хорошо, – сказал я. – Поглядим… на месте.

Жанна

Рабыни и я вместе с ними пили кавойе – чёрный, чудесно пахнущий, горько-сладкий напиток – и ели лепёшки, когда кастраты принесли вышитые рубахи-распашонки, плащи с капюшонами, целиком скрывающие фигуру, и платки из расписного шёлка с длинной бахромой по краям. С ними пришёл господин Вернийе; он окинул всех хозяйским взглядом, огладил бородку, улыбнулся, кивнул и сказал толстяку Биайе, что товар пребывает в полном порядке. Пора собираться в дорогу.

Рабыни очень развеселились. Они были счастливы покинуть это место – и принялись болтать о мужчинах, которые придут смотреть на них на ярмарке. Одеваясь, они обсуждали, как можно привлечь к себе взгляд понравившегося мужчины: как подводить глаза, чтобы они казались ярче, как раскачивать бёдра и показывать приподнятую грудь, как выставить ножку, как встряхнуть волосами… Рабыни были очень уверены в себе; их радовали возможность что-то изменить и какое-то варварское ожидание этой игры в кости, этой лотереи, где брезжилась вероятность счастья на их лад.

Я глубоко задумалась, пока Шуарле учил меня особым образом завязывать платок: чтобы прикрыть нижнюю половину лица, до самых глаз, а бахрому спустить на лоб, спрятав под неё волосы. В Ашури-Хейе считалось вызывающим не скрывать лица – так же как у нас в Приморье считается вызывающим не опускать глаз. Рабыни должны были выглядеть скромными девицами – они и выглядели. Мне казался смешным этот контраст между их укутанными фигурами, олицетворявшими совершенную застенчивую робость, и словами, в которых смелость мешалась с насмешливой дерзостью – но я молчала.

Мне казалось, что в моей жизни всё кончено. Я решила, что не буду жить, если не найду другого способа избежать насилия и позора. От этой мысли стало полегче – хотя я смутно понимала, что в новом доме будут другие слуги, скорее всего – кастраты, напоминающие Биайе, а не Шуарле, и они не позволят мне покончить с собой.

Меня мутило от тоски, а Шуарле молчал и только расправлял складки на моей одежде и прибирал мои волосы. Разрисовать своё лицо я не позволила. Кажется, я разуверилась во всём – в том числе и в дружбе Шуарле. Я не могла злиться на него, он был слишком жалок и мил мне – но глубоко огорчилась.

В сопровождении кастратов женщины вышли за пределы огороженного стеной сада. В мощёном дворе дома Вернийе стояли две запряжённые четвёрками крытые повозки вроде фургонов бродячих циркачей – только парусина не была разрисована. Шуарле приподнял полог одной повозки; внутри лежал тюфяк, заваленный подушками. Рабыни влезли внутрь – по трое в каждую; со мной оказались злая Хатагешь и пышечка Астарлишь. Шуарле забрался к нам и задёрнул за собой ткань.

Судя по стуку копыт и голосам, во двор въехала верховая стража, их было не меньше шести-восьми человек. Я не могу сказать точнее: женщины смеялись и пытались проделать дырочки в парусине или распустить её по шву, чтобы поглядеть на стражников, но Шуарле им этого не позволил. Рабыни обиделись и принялись, по обыкновению, дразнить и высмеивать его.

Мой друг, против обыкновения, почти не обращал на их брань внимания. Он молчал и казался погружённым в себя. Девицам вскоре наскучило его молчание, и они принялись бесстыдно обсуждать свои лунные дни, отвар шалфея, помогающий от боли в животе, и такие подробности ночных утех, что мне стало… не то чтобы противно, но чрезвычайно неловко.

Обычно я старалась уйти от разговоров этого рода; сейчас уходить оказалось некуда – и я была вынуждена слушать их и думать о своём будущем положении. Я впервые хорошо

представила себе то, что меня ждёт, – и у меня не укладывалась в голове сама возможность позволить любому чужому человеку проделать со мной подобные вещи.

Я начала всерьёз прикидывать, каким именно образом лучше всего оборвать собственную жизнь. Самым лучшим мне показался осколок зеркала, который можно воткнуть себе в горло: ведь зеркало непременно должно оказаться на тёмной стороне богатого дома. Теперь я потихоньку набиралась решимости.

Дорога оказалась гораздо скучнее, чем сидение взаперти в доме Вернийе. В повозке было жарко и тесно. Рабыни сняли плащи и платки и вели нескончаемые циничные разговоры, которые напомнили мне матросов на юте, только наизворот. За невозможностью уединиться тут приходилось справлять нужду в отхожую дыру, проделанную в днище повозки; девиц это очень забавляло, мне казалось мучительно неловким. Хорошо ещё, что Шуарле покидал повозку с этой целью. Мы слышали стук копыт, скрип колёс, голоса нашей собственной стражи и проезжающих, щёлканье кнутов, мычание – вероятно, перегоняемого скота, песни возчиков, но ровно ничего не видели. Только раз, когда Шуарле на миг приподнял полог, в щели мелькнул ослепительный и бесконечный луг, пестрящий цветами, а над ним – опрокинутое небо. Солнце, постепенно поднимаясь, золотило и просвечивало парусину, по которой то и дело проходили какие-то тени – очевидно, тени фигур, движущихся вокруг; потом оно стало клониться к вечеру, и золотистое сияние угасло. В сумерки в повозке стало темно, и рабыни принялись возиться в потёмках, хихикая и обмениваясь непристойными шуточками. Шуарле всё молчал – и когда повозки остановились, так же молча принёс ужин, очень скромный. С собой взяли сухой сыр, красные сладковатые плоды с пряным запахом и сдобные лепёшки, всё это можно было запить травным настоем.

Рабыни заснули вскоре после еды. Шуарле ушёл, меня это жестоко опечалило. Вообразив, что теперь он не хочет даже говорить со мной, я долго сидела без сна, глядя на отблеск костра, пляшущий по парусине полога. В конце концов я, кажется, задремала и проспала совсем немного.

Я проснулась от того, что холодная рука тряхнула меня за плечо, а вторая зажала рот. Открыв глаза, я увидела в тусклом свете едва брезжащего утра абрис лица Шуарле – его глаза светились в полумраке огоньками свечи, золотыми, оранжевыми, а лицо отражало этот свет, как полированный металл. Он был невероятно спокоен.

Я потянулась убрать его ладонь с моих губ, но он отрицательно качнул головой. Убедившись, что я буду молчать, протянул мне плащ и платок. Пока я неловко укутывалась, он пристально следил за спящими рабынями. Я вдруг с лёгкой оторопью заметила у него на коленях длинное лезвие чего-то вроде морского тесака – Шуарле вытер с него кровь, но металл всё равно выглядел тускло от тёмных разводов.

Когда я, наконец, повязала платок, мой друг подал мне руку – и мы выбрались из повозки. Стояло сероватое белёсое утро. Между повозками тлел костёр; у костра, укутанные в одеяла, спали стражники, а несколько поодаль – Биайе, которого можно было легко узнать по толщине и тоненькому похрапыванию. Вокруг была странная местность – каменистая, заросшая чащей незнакомых мне растений, казавшихся в сумерках тёмной косматой массой. Густой туман мешал видеть вдаль. Лошади, и верховые, и упряжные, были распряжены и привязаны к скобам на бортах повозок недоуздками – кроме двух, которые стояли под сёдлами.

– Ты ездишь верхом, Лиалешь? – спросил Шуарле еле слышно. Он всегда звал меня Лиалешь – Цветущая Яблонька.

Я не ездила верхом и покачала головой.

– Тебе придётся, – сказал Шуарле. – Это наш единственный шанс освободиться.

Я истово кивнула. Слава Господу, мелькнуло в моей голове, среди нас есть тот, кто знает, что делает. Шуарле улыбнулся шальной отчаянной улыбкой и указал мне на лошадь. Я изо всех сил попыталась сесть в седло; это, вероятно, было очень смешно. Шуарле, улыбаясь, подсадил

меня и придержал стремя. Я думала, что надо скакать очень быстро – но Шуарле, сев верхом, взял мою лошадь за узду, и мы поехали шагом, очень медленно и осторожно.

Стука копыт было почти не слышно на влажной от росы, пружинящей от травы земле.

Когда наши лошади обошли стоящие повозки, я заметила ещё одного стражника; он не лежал, а сидел, прислонившись спиной к колесу. Его поза казалась чрезмерно расслабленной, а голова упала на грудь, залитую чёрным – я догадалась, что он мёртв.

Шуарле взглянул на него, как на камень, и повернул наших лошадей на дорогу. Стук копыт стал чуть слышнее, зато тёмный след, оставляемый на траве, с которой мы сбивали росу, прервался: дорога вся была выбита подковами.

Так, можно сказать, крадучись, мы ехали до тех пор, пока повозки не растаяли в тумане. Потом Шуарле кивнул мне и ударил своего коня пятками по бокам.

Пока лошади шли, я отлично держалась в седле; теперь же, когда они сменили аллюр на довольно-таки быструю рысь, мне стало ужасно неудобно и страшно. Лошадиная спина ходила подо мной ходуном, тёмные тени мелькали вдоль дороги – я изо всех сил ухватилась за повод, но всё равно думала, что сейчас упаду под копыта.

– Лиалешь, – сказал Шуарле, обернувшись, – врасти в седло. Прилипни к нему. Двигайся вместе с лошадью – и ничего не бойся.

Я очень старалась. Шаг лошадей становился всё шире. Дорога плавно пошла вверх; с одной стороны от нас поднималась поросшая зеленью горная стена, с другой был обрыв, наполненный туманом. Я подумала, что в тумане мы можем сорваться вниз, но дорога виднелась отчётливо – чёрная от утренней влаги, заросшая по сторонам какими-то взъерошенными кустами.

Мне показалось, что мы ехали очень долго, но в действительности, я думаю, прошло не более получаса: небо начало потихоньку розоветь, Шуарле придержал своего коня. Бег снова превратился в ленивую рысцу. Я обрадовалась, потому что от напряжения у меня разболелась поясница и затекла спина. Теперь можно было чуть-чуть отпустить окаменевшие мышцы.

– Отдохни, Лиалешь, – сказал Шуарле ласково. – Мы оторвались. Вряд ли нас начнут искать скоро – и уж точно нас не станут искать здесь.

Звук его голоса каким-то образом помог мне осознать, что мы, во-первых, уже на свободе, а во-вторых, подвергаемся смертельной опасности как беглецы. Я улыбнулась Шуарле как можно теплее – в душе я давно посвятила его в рыцари, а в это утро он стал моим камергером и коадъютором, самым доверенным лицом. Я чувствовала себя виноватой перед ним: как я могла в нём усомниться? Мой несчастный друг был отважным и верным мужчиной, несмотря на телесную немощь.

– Меня поражает твоя отвага, Шуарле, – сказала я восхищённо. – Ты убил стражника? Этого огромного мужчину? Воина? Как же тебе удалось?

Шуарле усмехнулся.

– Я не хочу тебе рассказывать, Лиалешь. Это слишком гадко для принцессы. Просто – обманул его, заставил забыть осторожность и перерезал горло его собственным ножом, когда он совсем ни о чём не думал. Потом забрал его сумку.

– Ты очень умён.

– Я наблюдателен, – загадочно сказал Шуарле с довольно жестокой улыбкой. – Гранит иногда уязвимее песка. Я давно знал этого человека и достаточно сильно его ненавидел. Но смирился бы и совладал с собственной ненавистью, если бы не ты.

– Знаешь, – сказала я, – я бы никогда не догадалась, что ты настолько храбрый и сильный.

Шуарле придержал лошадь и взглянул мне в лицо.

– Дело не в силе или храбрости, – сказал он просто. – Дело в том, что я люблю тебя, Лиалешь. У меня нет крыльев, но сердце уцелело.

Я чуть не задохнулась. Он тронул мой локоть:

– Ты отдохнула? Нам надо торопиться.

Мы ехали горными дорогами довольно долго. Утро перешло в день, солнце перевалило через зенит и тени снова начали удлиняться, когда Шуарле сказал:

– Ты, наверное, голодна и устала, Лиалешь?

Я невольно хихикнула.

– Я думала, ты никогда этого не скажешь.

От долгой дороги у меня болело всё тело. Я была не просто голодна: мне казалось, что лучший обед сейчас – это живая индюшка, проглоченная целиком, вместе с перьями. Стоял невозможный зной; мне было ужасно жарко в плаще и платке, а снять их Шуарле не позволял.

– Солнце обожжёт тебя, – сказал он, – а Нут разгневается на нас.

Я только тихо радовалась, что Шуарле прихватил с собой флягу с водой. Он несколько раз давал мне глотнуть – правда, пить всё равно хотелось. Так что его позволение на отдых меня просто осчастливило.

– Хочешь спешиться? – спросил он, и я радостно кивнула.

Мы остановили лошадей в чудесном месте. Горная речка весело текла по камням, распространяя свежий запах воды, низвергаясь водопадом в небольшое озерцо и вновь вытекая оттуда. В зарослях на берегу лошади могли спокойно щипать траву, невидимые с дороги. Я с наслаждением села на упругий мох, покрывающий тёплые валуны сплошь, как зеленовато-седой ковёр.

Шуарле зачерпнул для меня воды из реки. Я наконец-то смогла умыться. Вода в реке была очень холодной, но это приободрило и развеселило меня. Шуарле вынул из седельной сумки лепёшки, вяленые абрикосы и два куска копчёной курицы – еда показалась мне восхитительной.

Я ела и смотрела на своего друга. Его лицо за эту ночь и этот день осунулось, даже глаза запали. Он всё время прислушивался, отламывая кусочки лепёшки – я заметила, что еда его не слишком занимает.

– Ты не спал всю ночь, да? – спросила я. – Наверное, ты очень устал. Тебе нездоровится?

– Я не люблю ездить верхом, – сказал Шуарле. – Но это ничего. Мы уехали далеко. К вечеру мы доберёмся до перевала, а завтра совсем растворимся в горах. Опасность от стражников Вернийе нам вряд ли грозит. Они не станут искать тебя здесь и рисковать собой.

– Это очень опасные места? – спросила я и поёжилась.

– Да, – коротко ответил Шуарле. – Достаточно.

– Ты удивляешь меня, – сказала я, улыбаясь. – Мой милый товарищ не боится того, чего боятся солдаты. Я горжусь дружбой с тобой.

– Они люди, а я – нет, – сказал Шуарле почти весело. – Ими движет любовь к деньгам, а мной – любовь к принцессе. У них нет шансов.

– Погоди. А почему ты не человек?

– Не совсем человек, – поправил Шуарле. – Полукровка. Наполовину сахи-аглийе.

Так я впервые услыхала это слово.

– Птица? Разве бывают ядовитые птицы? И потом – часто ты сам говорил, что у тебя нет крыльев…

– Лиалешь, – сказал Шуарле, – я всё расскажу вечером. Нам надо ехать дальше. Ты отдохнула?

Мне ничего не оставалось, как кивнуть.

После того разговора, даже после упоминания об опасности, мне настолько полегчало, что я принялась глазеть по сторонам. Я потихоньку приноровилась к лошади. Сидя взаперти,

я совсем отвыкла от красот Божьего мира – и теперь с наслаждением рассматривала чудные деревья с бледно-молочными, будто восковыми соцветиями и стволом, поросшим густой шерстью, высокую траву, птиц, перепархивающих между камней… Я никогда прежде не бывала в горах. Их каменные громады, то сияющие белыми снегами на вершинах, то зеленеющие, как неизмеримо высокие стены, увитые плющом, поразили моё воображение.

Ровно ничего страшного я не видела.

Шуарле же всё озирался, будто ждал чего-то. Уже на закате, когда самые камни казались розовыми от уходящего солнца, он остановил лошадей у странного места: три каменных столба, высотой в два человеческих роста, торчали у самой тропы, а из-под них бил маленький ключик. Крохотное, как мисочка, водное зеркало кто-то аккуратно обложил позеленевшими камешками.

– Дальше нам сегодня не надо, – сказал Шуарле и спешился.

Я тоже слезла с лошади. У меня сильно болела спина; я потёрла поясницу, потянулась и спросила:

– А почему? Ещё совсем светло…

Шуарле принялся рассёдлывать лошадей. Он сложил на земле седельные сумки, потом снял сбрую и небрежно отбросил в сторону. Лошади подошли к ключику и стали пить.

– Ты не станешь их привязывать? – спросила я.

– Я думаю, они нам больше не понадобятся, – сказал Шуарле. – Пешком мы, наверное, пройдём – но лошадей тут не любят. Я сам их не люблю.

– Кто не любит?

– Мои родичи. – Шуарле тихонько вздохнул. – Я даже не уверен, что они полюбят меня, когда увидят, Лиалешь.

– Ядовитые птицы? – улыбнулась я.

Он кивнул и начал собирать в кучу сухие веточки. Я догадалась, что нужен хворост для костра, и стала помогать ему. Шуарле притащил несколько сухих слег, разломал их и разжёг огонь. Мы набрали в котелок воды, чтобы заварить травник, и достали из запаса ещё пару лепёшек.

Мой друг снова замолчал. Я тронула его за плечо:

– Послушай, ты же обещал рассказать! Ты ведь не обманул меня?

Шуарле уселся удобнее, обхватив руками острые колени. Сказал, глядя в огонь:

– Лиалешь… это место называется Хуэйни-Аман.

– Горы – чего? Зла?

– Не совсем. Аманейе. Ночных и неживущих, существ, которым нигде нет места. Выходцев из-за реки.

– Из-за реки? Ты ведь не хочешь сказать – просто с другого берега той реки, которую мы проехали, правда?

Шуарле кивнул и подбросил в костёр сухую веточку.

– Есть Мистаенешь-Уну, Великая Серая Река, – сказал он тихо. – За неё уходят тени мёртвых. За ней живут боги и демоны. Иногда они переправляются на этот берег. Они и есть аманейе, а главная из них – Госпожа Нут, Великая Мать. Люди узнали о ней… от нас.

– Ты демон или бог, Шуарле?

– Не смейся, Лиалешь. Мой отец – сахи-аглийе, а мать – женщина, да ещё и рабыня. Вот что я знаю о своём рождении. Может, отец любил мать. Может, он соблазнил её или взял силой. Об этом она никогда не говорила. Важно, что он так и не узнал, что она отяжелела его семенем – иначе забрал бы её к себе. Судьба аманейе в мире людей – двойка на костях Нут.

– Двойка – это всегда проигрыш? – спросила я.

Шуарле снова кивнул.

– Смертельный проигрыш. Полукровок обычно убивают в колыбели, но человек, которому принадлежала моя мать, был жаден. Ему не хотелось терять раба в моём лице. И он заплатил заклинателю духов… за это, – и дотронулся пальцем до звезды между бровей. – Она не смывается, она никогда не смоется, потому что краска вколота под кожу иглой. Это – цепь, приковавшая меня к земле.

– Иначе ты мог бы летать?

– Да. – Шуарле совсем свернулся в комок. – Но этого им показалось мало. Они знали о силе аманейе и решили лишить меня её тоже. Так делают послушным вьючный скот. Потом меня перепродавали из рук в руки, пока не продали Вернийе. Я удобная вещь для него: у меня больше сил, чем у людей в таком положении. Вот видишь: я раб людей, я их ненавижу.

– Но не меня, правда?

Он погладил меня по щеке.

– Ты не похожа на других человеческих женщин. Ты не презираешь меня – я не ненавижу тебя. Ты ещё очень юна, твои мечты кажутся мне несбыточными – но я буду помогать тебе, пока живу, за то, что ты ни разу не попрекнула меня… увечьем.

Я не выдержала и обняла его. Шуарле вздохнул и замер, прошептав:

– Всё-таки это хорошо…

Я положила голову на его плечо. Некоторое время мы молчали, потом я осмелилась спросить:

– Шуарле, а почему мечты – несбыточные?

– Я не верю, что мы переберёмся через море, – сказал он грустно. – Я не думаю, что сумею проводить тебя до дома твоих родителей или твоего жениха и что там у нас будет прекрасная жизнь. Но я верю, что тебя любит Нут – и что она, возможно, не оставит и меня. Я вручил себя ей. Пусть всё выйдет, как лягут кости.

– Пусть, – сказала я. Мне было очень тепло и спокойно, так, будто меня охраняла вся гвардия моего отца. Я сразу во всё поверила, но совершенно не чувствовала страха. Одно дело – некроманты и ведьмы у нас дома, а другое – Шуарле, мой друг, существо, которое я никак не могла считать исчадием зла.

Здесь, в краю перевёрнутого месяца, мои представления тоже изрядно перевернулись.

Шуарле устроил мне ложе из седельных сумок и укутал меня двумя плащами.

– Ночью тут бывает очень холодно, – сказал он. – Надеюсь не дать тебе замёрзнуть.

К вечеру и вправду стало прохладно, но я почему-то заснула быстро и крепко. Я уже давно не спала так спокойно: вероятно, у меня было очень хорошо на душе, невзирая на наши отчаянные обстоятельства.

Утром свежесть разбудила меня чуть свет. Шуарле, спавший, завернувшись в одеяло, прямо на траве, проснулся ещё раньше меня и теперь подкладывал хворост в костёр, чтобы заварить травник.

– Жаль, что у нас нет с собой кавойе, Лиалешь, – сказал он, улыбаясь, когда заметил, что я уже проснулась. – Им легче согреться.

– Знаешь, – сказала я, – в нашем положении можно греться даже простой кипячёной водой. Это совершенно всё равно.

Одна из наших лошадей за ночь куда-то ушла. Вторая паслась в зарослях неподалёку; Шуарле легко её поймал, но не стал седлать, а навьючил нашими сумками.

– Мы с тобой пойдём пешком, – сказал он. – Так мы вернее не наступим на что-нибудь плохое. Пока у нас есть еда и кое-какие вещи – будет неплохо, что их несёт лошадь, а не мы, но нести тебя я ей больше не доверю. Видишь эти столбы? Это граница мира аманейе.

– Люди сюда не ходят? – спросила я.

– Бывает, ходят, – отозвался Шуарле. – Ищут сокровища, собирают травы и разные вещицы, нужные для ворожбы. Не всегда возвращаются.

– А мы дойдём по этим горам до побережья? – спросила я робко.

– Не до того места, откуда выехали, – сказал Шуарле. – Мы дойдём до Улиши-Ам-Тейа, Теснины Духов. От неё рукой подать до Лаш-Хейрие, до столицы людей. В столице бывают огнепоклонники с южных побережий, они приезжают продавать рыбу и жемчуг. Может быть, кто-то из них знает морской путь в твою страну.

Его методично описанный план совершенно меня успокоил. Не знаю почему – но страх исчез совсем. Мне было любопытно в высшей степени – и только. Всё-таки я была ужасно самонадеянной и глупой девицей.

Начало путешествия пешком я восприняла как замечательную весёлую прогулку.

Мы шли налегке; я успела привыкнуть к плащу, а платок, отчасти спасающий мою голову от палящих солнечных лучей, был подоткнут уголками и не мешал. Тропа, каменистая, но вполне сносная для ходьбы, заросла по сторонам ярчайшими цветами – мне стоило большого труда удержаться от желания срывать их. Над цветами реяли стрекозы – зеленовато-синие стрелки со слюдяными крыльями, блестящие, как опалы. Уморительные птички, похожие на перепёлок, только крупнее, перепархивали то тут, то там – Шуарле заметил мне, что их вкусным мясом можно будет легко питаться, когда у нас закончится провиант, но пока мне было грустно об этом думать. Деревья, мохнатые, как вязаные носки, росли на ровных площадках, а прямо из склонов поднимались кривые сосны, изящно изогнутые, будто бра со свечами, такие удивительные, что хотелось их нарисовать. Хвоя этих сосен, вовсе не колючая, длинная и пушистая, как пучки волос, свисала с ветвей едва ли не до земли, окружая их стволы нежно-зелёной кисеёй.

Наша лошадь шагом брела за нами, позвякивая сбруей. Над горами высоко вздымались бледные, выцветшие от жары небеса, и солнце лило с высот зной, от которого впереди дрожал воздух…

Если бы Шуарле не дёрнул меня за руку, я, вероятно, глазея на цветущий склон, наступила бы на… Право, я затрудняюсь назвать то, что увидела, взглянув под ноги.

Оно струйкой спускалось между камней, а через тропу переливалось довольно широкой, ладони в четыре, шелестящей лентой. Лента состояла из крохотных тел, похожих на жёлуди, поросшие мохнатыми колючками – очевидно, под каждым «жёлудем» имелось некое подобие ножек, на манер муравьиных, но я их не видела. И шли они, как муравьи, сплошным, очень тесным потоком. Их было бесконечно много; в воздухе повис странный запах, острый и резкий, затрудняюсь определить, приятный или противный.

– Не двигайся, – приказал Шуарле вполголоса и сделал два осторожных шага к шевелящейся ленте. Лента заколебалась и, как бы нехотя, отклонилась в сторону.

– Всё как будто в порядке, – сказал Шуарле, обхватил меня за талию и, прежде чем я опомнилась, перенёс через поток странных существ.

Им, как мне показалось, это вовсе не понравилось. Я увидела, как лента выгнулась над дорогой подобно мосту, а мост качнулся прямо к нам – почему-то зрелище стало жутким.

– Отойди назад! – приказал Шуарле отрывисто и резко.

Я попятилась спиной вперёд, не спуская с него глаз, а он снова начал меняться, в этот раз – радикально. Я увидела, как его руки, шея, лицо приобретают металлический блеск, а потом с некоторым страхом заметила, как этот металл, подобно воде, начинает просачиваться сквозь одежду. Через несколько секунд Шуарле выглядел как статуя из ртутно переливающейся живой меди, а воздух сильно похолодел вокруг него: на дорожные камни и траву даже легла изморозь.

В это время петля «колючих желудей» вытянулась и ринулась к нему. Я не успела разглядеть подробностей: раздался пронзительный свист и резкий, но слышимый, скорее, костями,

чем ушами, раздирающий визг, лента распалась вокруг тела моего друга, её клочья осыпались на дорогу и прямо-таки впитались в утоптанный щебень.

Через миг всё пропало. Шуарле, совершенно обычный, очень мне знакомый, стоял на пустой тропе, уронив руки и тяжело дыша. Я подбежала к нему и обняла.

– Мы живы, – пробормотал он. – Дивлюсь, – и сел на тропу.

Я присела рядом. К нам подбрела удивлённая лошадь.

– Я перетрусил до смерти, – сказал Шуарле. – У меня получилось больше, чем всегда, потому что я за тебя перепугался.

– А что это было? – спросила я.

– Не знаю, – сказал он, мотнув головой. – Надо уходить отсюда.

Я помогла ему подняться. Он ухватился за луку седла нашей лошади и пошёл рядом с ней – как я поняла, чтобы не опираться всем весом на моё плечо. Лицо моего друга выглядело очень усталым и больным.

– А почему ты решил, что это опасно? – спросила я. – Они были, пожалуй, даже смешные…

Шуарле не ответил, лишь махнув рукой в сторону. Я проследила за его жестом – и содрогнулась, увидев в траве лошадиный скелет, весь проросший травинками насквозь. Между рёбрами лошади, как в клетке, лежал человеческий череп, а кости человека, как видно, рассыпались вокруг. Я оглянулась. Было ужасно тихо. На другой обочине, между камнями, я заметила ещё один череп, собаки, волка или, быть может, лисы. Крохотный мышиный скелетик хрустнул под моей ногой. Все кости выглядели такими белыми и чистыми, будто их специально очищали от остатков плоти; ни клочка шерсти, ни ниточки одежды не осталось нигде поблизости.

– Ох, – сказала я и невольно схватила Шуарле за руку. – Это… жёлуди их съели?

– Это не жёлуди, – сказал Шуарле. – Это аманейе.

Моё прогулочное настроение тут же иссякло. На всякий случай я дунула через плечо.

– Думаешь, мы доберёмся до столицы по этим горам? – спросила я, снизив голос.

– Надеюсь, – сказал Шуарле. – Мы точно не доберёмся до неё по равнине, а по горам – как кости лягут. Здесь много всего и много того, о чём я не знаю, – но я знаю точно, что с людьми мне будет сложнее, чем с нечистью.

Я согласилась. Путешествовать с Шуарле по местам, где живут обычные люди, было бы, очевидно, так же непросто, как путешествовать по Приморью в обществе некроманта. Законопослушные граждане могут прийти в ярость только оттого, что видят перед собой выходца из Того Самого Мира. А с нечистью с помощью Господней мы справимся.

Мы отошли от того места примерно на милю, чуточку отдохнули и отправились дальше. Теперь я с напряжённым вниманием смотрела по сторонам, ожидая от коварных мест любой опасности и каверзы.

Горы полнились страшными чудесами.

Ближе к полудню мы вышли к перевалу. На гладкой высоте, между вздымающимися скальными стенами, сплошь поросшими зеленью, вдруг явилось странное строение: изящная башенка, увенчанная шарообразным куполом и острым шпилем, на котором сияла золотая звёздочка. В её двери могла бы легко въехать конная повозка; их закрывала ажурная чугунная решётка в виде тонких веточек – всё вместе смотрелось как ворота в никуда. За решёткой надлежало бы увидеть горную стену и небеса на другой стороне, но за ней виднелся огромный город в солнечной дымке.

Это было похоже на безумие. Я ясно видела, что башенку со всех сторон окружают пустынные горы без признаков жилья; я обошла её вокруг, но и с другой стороны за решёткой отчётливо виднелись широкая проезжая дорога, ведущая к городским воротам, высокие стены из массивных глыб тёмно-красного камня, статуи сторожевых чудищ, охраняющие въезд, золочёные вымпела и лошадиные хвосты, крашенные алым, развевающиеся над распахнутыми

стальными створами… Я видела улицы и дома, выложенные изразцами; напротив въезда бил фонтан, обсаженный вокруг кустами цветущих роз. Это был прекрасный город, может – самый прекрасный из всех, какие мне доводилось видеть, но в нём не было людей. Город казался совершенно пустым, хотя печи дымились, и струи фонтана вздымались к небу, и всё вместе отнюдь не выглядело мёртвым, пыльным и заброшенным…

Я тронула решётку – и Шуарле мгновенно схватил меня за руку:

– Не смей, что ты делаешь?!

В тот же миг бесплотный голос, скорее женский, весёлый и светлый, донёсся из обманного простора внутри башни:

– Войди, девушка! Войди, отрок! Вам будут рады! – и мужской голос, очень приятный, низкий и тёплый, добавил:

– Вы в великой тени. Вам откроются заветные тайны…

– Бежим отсюда, – сказала я сипло.

Не помню, как скоро мы остановились отдышаться. Я, запыхавшись и вспотев, еле втискивала воздух в лёгкие. Шуарле погладил меня по плечу:

– Ничего, Лиалешь, всё обошлось.

Я кивнула, рассеянно оглядываясь. Мой взгляд остановил чудовищный гриб.

Мне случалось собирать грибы в монастырском парке, я считала себя большим докой по грибной части, но ничего подобного никогда прежде не видела. Этот грибной монстр достал бы своей отвратительной шляпкой, сизовато-бурой, покрытой какими-то белёсыми бородавками, до моей груди, а в обхвате казался просто необъятным. Его ножка, обтянутая паутинными нитями, раздвинула собой замшелые валуны. Даже умирая с голоду, я бы не стала прикидывать, съедобен ли он: ответ представлялся очевидным.

– Да, – сказал Шуарле, отследив мой взгляд. – Этому грибу и я бы не доверял.

Я кивнула, мы забрали лошадь и пошли прочь – но тут нас окликнули сзади:

– Далеко ли вы направляетесь, детки?

Шуарле мгновенно обернулся – и я за ним. Сморщенный мерзкий старикашка смотрел на нас из-под огромной нелепой шляпы каким-то плотоядным взглядом.

– Разве я должен отчитываться перед тобой, уважаемый? – спросил мой друг, пытаясь быть любезным. – Наша дорога – наша забота. Мир тебе.

– Ай-яй-яй, – зацокал старикашка, вытянув в трубочку беззубый рот. – Что ж это так огорчает тебя, маленький цветочек? Моё восхищение тобой? Моя очарованность твоей госпожой?

– Твой почтенный возраст внушает уважение, но слова заставляют в нём усомниться, – сказал Шуарле. – Глядя в вечность, не годится отводить взор на суетные мелочи.

– И кто бы счёл суетными мелочами юность и прелесть? – хихикнул старик. – Какие у нас гости! Мой народ гостеприимен. Да не скажет никто, что пришедших к нам деток здесь встретили без должной любви, хе-хе…

Лицо Шуарле замерло; он, кажется, к чему-то напряжённо прислушивался. Я беспомощно оглянулась вокруг – и дёрнула его за рукав: вокруг нас росли грибы. Они росли прямо на глазах, вспучиваясь сквозь щебень, валуны и дёрн; их шляпки, покрытые слизью и пупырышками, увеличивались с невозможной скоростью – от размера блюдечка до размера блюда для парадного торта в королевском сервизе. Увидев это, Шуарле ахнул и потащил свой тесак из ножен.

– Уй-вай! – вскрикнул старикашка и затрясся от хохота. – Какой острый ножик! Что ты собираешься делать им, бедный птенчик? Может, позволишь мне почистить под ногтями? – и протянул к нам ужасно длинную руку с растопыренными узловатыми пальцами. На каждом рос ноготь, не короче самого пальца, блестящий, как стилет. Шуарле прикрыл меня собой, но я почувствовала, как сзади кто-то схватил меня за бок.

– Какая беленькая кошечка! – заскрипел у меня под самым ухом такой же гнусный голос – и я завизжала, а Шуарле с размаху всадил своё оружие в бородавчатое существо, прикоснувшееся ко мне.

Из твари хлынул поток слизи и чего-то вроде гноя, она издала скрипучий вопль – а все грибы вокруг вдруг зашевелились, вставая на ноги и отряхивая землю и паутину, обнаруживая под шляпками сморщенные якобы человеческие лица, выпрастывая когтистые лапы.

– Какая радость! – верещали они, норовя хвататься за нас и осклабляясь. – Только взгляните, кто это нынче сюда пожаловал, братья! Человеческая девочка не убежит, птичий мальчик не улетит – и перед ужином будут забавные игры! – я, с ужасом озираясь, сообразила, что приняла за потрёпанную одежонку свисающие клочья и складки серой кожи, а шляпы росли у оборотней-аманейе прямо из голов. Как в предвкушении кошмарной потехи менялись их тела – я не в силах описать словами. Упомяну только, что… что некоторые их части удлинялись гораздо быстрее рук и выглядели куда опаснее.

Шуарле дрался, как загнанный в угол волк. Я не могла себе представить, что у него столько сил и отваги. Его тело снова стало живым металлом – и я слышала, как когти оборотней скребут по нему с нестерпимым звуком, как камень по стеклу. Шуарле успел ударить клинком двоих – прежде чем его схватили за запястье и выкрутили руку. Мне оставалось только вырываться и пинаться с яростью, но без особой надежды. Я поняла, что мы пропали.

Но вдруг что-то изменилось. Шуарле вырвал руку из цепких лап хихикающего оборотня, жёсткие пальцы, державшие меня, разжались – и мы оказались на пятачке свободного пространства. Пыхтение и радостный визг оборотней стихли; я услышала резкий свист, будто кто-то размахивал чудовищным мечом.

Я инстинктивно обернулась и увидела летящих сахи-аглийе.

Не узнать их было нельзя. Их медные тела сияли на солнце. Громадные крылья, заменившие им руки и показавшиеся мне отточенно острыми, разрезали воздух с угрожающим шипением. Они выглядели одновременно очень твёрдыми и эластически гибкими, как полоса закалённой стали. Их ноги превратились в драконьи лапы с кривыми когтями, а тело оканчивалось хвостом, упругим, как хлыст, со скорпионьим жалом на конце. Человеческие лица снизу от глаз вытягивались в хищные пасти, оснащённые ужасными клыками, подобными кривым ножам. Каждое из этих существ напоминало ожившее геральдическое чудище.

Их вид ужаснул оборотней. Утеряв человеческое подобие и снова обретя грибной вид, они начали как-то сдуваться, сморщиваться – и просачивались под землю, оставляя на поверхности мокрые слизистые пятна. Мы с Шуарле стояли, прижавшись друг к другу, заворожённо глядя вверх – этот медный блеск с небес выглядел столь внушительно и угрожающе, что страх и ярость, вызванные грибами, как-то растворились и пропали.

Неужели, мелькнуло в моей голове, мой несчастный друг был создан таким же сияющим чудовищем? Как великодушно с его стороны не ненавидеть всех людей поголовно за отнятую свободу парения в лучезарной высоте в виде такого потрясающего зверя!

А сахи-аглийе тем временем опустились на горную тропу, принимая человеческий облик – и во главе этой стаи оказалась молодая женщина.

Она была жестка, словно отполированное лезвие. Её прекрасное лицо, чёрное, как у всех жителей этой страны, с такими же янтарными очами, как у Шуарле, выражало насмешливое презрение. Густые тяжёлые волосы, заплетённые во множество кос и закрученные в жгут, она небрежно закинула за спину. Мужской костюм – винно-красная рубаха, кожаные штаны и высокие сапоги – подчёркивал вызывающее совершенство её тела. Высокая грудь, не нуждающаяся в корсаже, поднимала мягкую ткань, а пояс свободно свисал на бёдра с тонкой талии. Меня поразил шипастый хвост, вьющийся вокруг её ног – он так и не пропал.

Её красота сияла как свет – но в этой ликующей дикой прелести всё же было что-то отталкивающее. Угрожающее.

Женщину сопровождали трое воинов – молодых мужчин, хвостатых, как и их госпожа, отличающихся статями барсов. Они, впрочем, остановились поодаль, как вассалы. Женщина же подошла к нам, разглядывая нас с весёлым и бесцеремонным любопытством.

– Что это за мясо в грибной похлёбке? – сказала она, остановившись против меня. – Ты, белый цыплёнок! Из-за тебя я не смогу подать своему мужу на нынешний ужин пирожки с грибами!

Её вассалы сдержанно заулыбались.

– Мы признательны тебе, госпожа, – сказал Шуарле, но женщина-аглийе оборвала его пренебрежительным жестом.

– Цып-цып-цып! Таких, как ты, жарят, когда они жиреют. Какой соус тебе больше по вкусу – медовый или чесночный? Ах да, грибной!

Мужчины-аглийе усмехались, но несколько принуждённо – а меня эта реплика привела в тихое бешенство.

– Да, мы признательны, – сказала я, глядя в глаза воительнице. – Но удивлены, что сила кичится жестокостью. До сих пор я полагала, что красоте не к лицу бессердечность.

Женщина окинула меня надменным взглядом. Я смотрела прямо. Шуарле нашёл мою руку на ощупь и сжал мою ладонь в своей.

– Ты хоть понимаешь, с кем говоришь, глупая курица? – спросила она, кажется, начиная по-настоящему раздражаться. – Я – первая жена наследного принца Ашури-Хейе, моё имя – Раадрашь, и люди должны падать ниц, когда я им показываюсь.

– Спасибо за вести, новые для меня, – сказала я. – Я – принцесса северной страны по ту сторону моря. Здесь меня зовут Лиалешь, я не оскорбляю незнакомцев и не люблю ставить людей на колени.

– У тебя слишком длинный язык, – сказала Раадрашь, сдвинув прекрасные брови. – Принцесса? Ну что ж, значит, принцу будет незазорно развлекаться тобой. Я подарю тебя мужу на ужин вместо грибных пирожков. Надеюсь, твоя белая кожа понравится ему на пару ночей.

Её свита рассматривала землю под ногами. Шуарле сказал:

– Принцесса не бывает наложницей. Она бывает женой или мертвецом.

– Молчи, ничтожный, – сказала Раадрашь. – Мы увидим принцессу с севера – рабыню принца с юга, это будет весело. А что до тебя – я придумаю, как наказать твою дерзость: отдать тебя грибам или скормить псам. Возьмите их с собой!

Не успела я возразить, как воины Раадрашь покрылись медью и развернули крылья. В следующий миг мы с Шуарле оказались у них в когтях, а земля стремительно провалилась вниз.

За этот полёт я перестала завидовать птицам, хотя, возможно, была неправа в своей скоропалительности: мои ощущения скорее напоминали ощущения мыши, несомой совой на съедение, чем самой совы. Горизонт тошнотворно танцевал перед моими глазами; я смотрела вниз – и видела разверзающуюся бездну, белую, коричневую и зелёную, в которой лес выглядел как мох, а белые пики ледников – как куски колотого сахара. Медные когти сжимали мои бока до острой боли – но мышиный ужас перед высотой отвлекал от будущих синяков. Иногда, когда мне удавалось чуть повернуть голову, я видела аглийе, который нёс Шуарле так же, как и меня. По лицу своего друга я понимала, что для него этот полёт – изощрённое и жестокое издевательство, что он не испытывает мышиного ужаса, чувствуя лишь смертельную тоску и боль от собственного ничтожества.

В эти моменты я ненавидела людей, которые его искалечили.

Замок втыкался в небо, как каменный шип. Он продолжал собой одинокий пик: чёрные стены вырастали из чёрного массива скалы. Мостик, тоньше цепочки для лампады, если смот-

реть сверху, соединял каменные ворота с горной дорогой на другой стороне ущелья. Я отчётливо осознала, что этот мостик, по-видимому, сделанный из канатов и дощечек, удержит осторожно переходящего человека, но под вьючной лошадью порвётся на части. Эту эфемерную нить можно было с лёгкостью уничтожить – и тогда цитадель на скальном клыке становилась неприступной для всех, кроме Господа.

Воздух в этой горней высоте был редок и холоден, несмотря на ослепительный солнечный свет. У меня закружилась голова от зимнего запаха здешнего августовского ветра.

Аглийе перелетели крепостной вал и поставили нас с Шуарле на выщербленные временем плиты внутри двора, напротив входа в главное здание. Мне показалось, что воин, нёсший меня, как-то замедлил свой полёт, несколько раз взмахнув крыльями на месте, чтобы опустить меня, не ушибив моих ног. Это заметила и Раадрашь.

– Йа-Кхеа, – окликнула она воина, едва успев принять человеческий облик, – ты оказываешь рабыне принца неподобающие почести.

Йа-Кхеа, Мрак, если я правильно перевела его имя, прищурил длинные узкие глаза, склонил голову и негромко сказал:

– Не вижу в том корысти, госпожа, чтобы будущая любовница моего господина прибыла ко двору, уподобившись черепахе, разбитой о камень.

– Ты не можешь понять простых вещей, – презрительно бросила Раадрашь. – Тупой солдат, твоё дело – буквально исполнять приказы!

– Госпожа, – окликнул её второй воин, моложе, с заострённым лисьим лицом – тот, что нёс Шуарле. – Позволь мне заметить, что ты не приказывала нам убить. Мы поняли, что наше дело – донести…

– Зеа-Лавайи, – насмешливо сказала Раадрашь, – ты напрасно пытаешься быть предупредительным. Йа-Кхеа просто глуп, а ты строишь из себя умника. Я больше не желаю слушать вашу болтовню. Охраняйте их, я отправляюсь в покои принца.

С этими словами она развернулась, задев Зеа-Лавайи концом косы, и, стремительно взбежав по ступенькам, скрылась за тяжёлой дверью из резного чёрного дерева.

Я, дрожа от холода и тревоги, подошла к Шуарле, который хмуро смотрел ей вслед.

– Прости меня, Лиалешь, – сказал он так печально, что у меня заболело сердце. – Я просто бесхвостый щенок. Я лгал себе, я думал, что справлюсь – а получилось, что ты попала в беду из-за моей самонадеянности.

– Ты вёл себя очень достойно и отважно, – сказала я. – Не наговаривай на себя. Жестокость встречается повсюду – как ты можешь винить себя, если виноваты другие?

Он бледно улыбнулся. Я погладила его по плечу.

– Послушай, а у тебя тоже был хвост? Как у них? Вправду?

Шуарле чуть не подавился невольным смешком:

– Много чего у меня было, – сказал он саркастически. – А вот теперь не будет и головы. Хорошо бы – только у меня.

Воины Раадрашь молча слушали наш разговор. Я думала, что говорить им нельзя, но Зеа-Лавайи, наверное, Месяц, точнее – Лунный Серп, вдруг нарушил молчание:

– Знаешь, Йа-Кхеа, – сказал он, обращаясь к своему товарищу, – когда господин выйдет, я попрошу его отослать меня облетать окрестности, охранять стадо, переносить через ущелье мешки с мукой – но избавить от должности телохранителя госпожи.

Йа-Кхеа криво усмехнулся. Третий воин, носящий ухоженную косу ниже лопаток длиной и такую же ухоженную бородку, сказал:

– Если вы будете так несдержанны, кто же станет охранять госпожу? Она попадёт в Сети Ли-Вайалешь, или оборотни поймают её и сожрут… и наш господин будет долго горевать… а потом приблизит к себе другую… к общей радости.

Его товарищи тихо рассмеялись. Шуарле, увидев, что воины не настроены злобно и мрачно, спросил у Зеа-Лавайи:

– Господин, а правда ли, что муж госпожи – принц людей? Тот самый принц, о котором… много говорят?

Воины снова принялись смеяться. Зеа-Лавайи сказал со снисходительным дружелюбием:

– Откуда придорожному цветку знать о жизни барсов? Наш господин, Тхарайя, сын человеческого государя и аглийе, полукровка.

Шуарле открыл рот и сделал несколько судорожных вдохов, как пойманная рыба. Это развеселило воинов ещё больше.

– Гранатовый государь, будучи ещё юным, как-то повстречал на охоте аглийе, – продолжал Зеа-Лавайи. – Женщину, подобную ночной неге, и запаху жасмина, и жаркой грёзе. И увидев, влюбился в её небесную красу безоглядно и не думая о последствиях. Рассказывают, что он приезжал в горы, чтобы увидеть её, и пел ей песни, как очарованный бродяга, и забыл о сне и еде – и, в конце концов, она подарила ему ночь. А потом – оставила своё дитя под кустом роз в его саду.

– Человеческое дитя, – заметил Йа-Кхеа, – старший принц, отважный воин. Пошёл в мать телом, в отца душой. Только вот…

Хлопнула дверь. Принц со странной родословной, сопровождаемый своей женой, спустился во двор.

– Это твой подарок? – спросил он, с любопытством разглядывая нас.

Я тоже на него посмотрела. В безобразной драке с аманейе-грибами с меня стащили платок, а плащ я, кажется, потеряла. В распашонке и нелепых здешних штанах, которые я вдруг осознала на себе, знакомиться с особой королевского дома было глупо и неприлично, но я решила не прятать лицо и не опускать глаз.

Принц Тхарайя, Ветер, был уже далеко не юн, а мне с первого взгляда показался почти пожилым – вероятно, из-за лица: безбородого, но небритого и усталого, с морщинками под светло-карими глазами, у губ и между бровей. Он стриг волосы коротко, и в чёлке светила седая прядь, удивительно яркая на вороном фоне. И на мою беду от матери-аглийе его высочество унаследовал хвост: он повиливал им, как рассерженный кот – было очень тяжело отвести от хвоста взгляд.

– Какая ты беленькая, – сказал принц и чуть улыбнулся. Его улыбка оказалась незлой, даже печальной.

Я вдохнула, сделала несколько шагов ему навстречу и, не зная, как полагается кланяться по здешнему этикету, чинила политес в три такта – что, вероятно, забавно выглядело без кринолина. Улыбка принца стала заметнее; Раадрашь хмыкнула.

– Видеть вас – честь для меня, господин, – сказала я, забывшись, и тут же поправилась: – Видеть тебя.

– Глупа как пробка, – сказала Раадрашь, усмехаясь, – нахальна, невоспитанна, но – красивые волосы, правда?

– Господин, – сказала я, – прошу тебя, позволь мне сказать несколько слов.

Аглийе из свиты принца и принцессы тем временем собрались во дворе; кое-кто из дворни выглядывал из зарешеченных окон. Я чувствовала взгляды всем телом, как на парадном приёме.

– Ты просишь позволения? Скажи, – кивнул принц.

– Я прошу у тебя, господин, милости для своего слуги, – сказала я. – Он был верен мне в опасности и беде и сделал всё, что в его силах. Я не могла платить ему ничем, кроме дружбы и покровительства, – а он был предан всем сердцем. Несправедливо наказывать слугу за дерзость госпожи, если кто-то из сильных счёл, что дерзость имела место.

Вокруг стало очень тихо.

– Да она совершенно сумасшедшая, – негромко проговорила Раадрашь, и все это услышали.

Принц Тхарайя поднял одну бровь.

– Почему ты об этом просишь?

– Потому что госпожа Раадрашь пообещала, что скормит его псам, – сказала я. – Может, это была её шутка или угроза, сорвавшаяся в запальчивости, но госпожа – принцесса, а Шуарле – раб, он не может не принять всерьёз эти слова.

Принц, кивая, выслушал меня. Раадрашь дёрнула плечами, развернулась и ушла в покои, захлопнув за собой дверь. Я чувствовала спиной присутствие Шуарле, и сознание необходимости правильных слов придавало мне сил.

– Господин, – продолжала я, – прости мне этот вид. У меня нет другой одежды, той, что выглядит достойно. Всё наше имущество потеряно. Я просто хотела добраться до дома – а это очень далеко – но у меня нет свиты, кроме Шуарле, а горы полны опасностей…

– Я думаю, – сказал принц, – тебе больше ничего не угрожает. И твоему стражу – тоже. Раадрашь высказалась необдуманно, никто не станет убивать его. Считай себя моей гостьей… тебя проводят на тёмную сторону, – и махнул Йа-Кхеа рукой, а потом быстро удалился.

– Пойдём, цветочек, – сказал Йа-Кхеа. – Я покажу, где тут живут женщины.

– Я не цветочек, – поправила я, улыбнувшись. – Моё имя Лиалешь – Яблоня больше, чем Цветок. Шуарле ведь может следовать за мной?

Воин кивнул, и Шуарле взял меня за руку. Его ладонь была холодной и влажной.

Йа-Кхеа проводил нас через обширный зал, окна которого украшали цветные витражи, а стены – мозаики в виде цветущих зарослей и райских птиц, к резной двери, ведущей в покои женщин. Уже около этой двери пахло привычно – лучше, чем на тёмной стороне в доме Вернийе, но всё тем же гераневым и розовым маслом, жасминовой эссенцией и лавандовым мыльным настоем. Угрюмый боец, войдя в этот покой, стал ещё угрюмее и принялся пристально смотреть в пол.

Зато я, войдя и оглядевшись, нашла помещения прекрасными. Здесь, в ароматной тенистой прохладе, я вдруг вспомнила, что дорожную пыль можно смыть, а одежду, покрытую гнусными пятнами грибной слизи, снять и заменить другой, чистой. В этот момент я искренне благодарила принца Тхарайя в душе.

Йа-Кхеа, не входя, распахнул дверь в комнату с высоким сводом и зарешеченным стрельчатым окном. К этому окну неодолимая сила и притянула мой взгляд: за его решёткой ярко светило солнце, а глубоко внизу лежали облака, похожие на взбитый сливочный крем. Под облаками я не разглядела земли.

– Ах, Шуарле! – сказала я восхищённо, подбежав к окну и усевшись на подоконнике. – Как прекрасно жить на такой божественной высоте! Как святые отшельники в горных монастырях!

– Да, – отозвался Шуарле. – Отсюда мы не сбежим, даже если очень захочется…

– Эй, птенец, – окликнул его Йа-Кхеа. – Пойдём-ка со мной, не могу больше тут торчать.

На миг мне стало жутко.

– Шуарле! – пискнула я. – Воин, пожалуйста, не уводи его!

По жёсткому лицу Йа-Кхеа, на котором скулы выглядели, как из камня вырезанные, промелькнул некий светлый блик, похожий на улыбку.

– Госпожа, – сказал он, – тебе нужна одежда, ты сама сказала. И мой господин разгневается, если узнает, что женщину оставили голодной. Твой грозный страж никуда не денется.

Я отпустила их кивком, но радость моя сильно поблекла. Оставшись одна, я принялась изучать комнату. Обстановка, как и в доме Вернийе, выглядела скудно, если сравнивать с жен-

скими покоями севера. Разве что тюфяки на полу заменяла низенькая тахта, застланная шёлком и заваленная подушками разных размеров, а в остальном всё то же: тот же мохнатый ковёр, правда, чистый и прекрасной работы, то же зеркало, правда, громадное, в половину моего роста, и в отличных бронзовых рамах, тот же туалетный столик, правда, на нём красовались не глиняные кувшинчики, а изящные безделушки из серебра и хрусталя с самоцветами – те же резные сундуки. Но в сущности…

Мне отчего-то стало грустно. Только Шуарле, вошедший с корзиной и ворохом одежды, несколько меня утешил.

– Что-то сталось с нашей лошадкой, – вспомнила я, заглядывая в корзину. – Хочешь винных ягод?

Шуарле кивнул, отщипнул часть грозди и присел на постель рядом со мной. Он выглядел хмуро и нахохленно.

– Тебя что-то огорчает? – спросила я.

– Мы – в тюрьме, Лиалешь, – сказал Шуарле, не глядя в мою сторону.

– Мы – в гостях, – возразила я, стараясь быть убедительной. – Его высочество производит впечатление незлого и разумного человека. Его жена – несколько взбалмошная особа, но мы постараемся с ней помириться.

– Взгляни на это, – сказал Шуарле и встряхнул вышитую золотыми облаками шёлковую рубаху. – Я думаю, это шили для любовниц принца.

Я рассмеялась.

– А что его люди должны были предложить мне? То, что шили для него самого? Да я бы могла играть в прятки в его сапогах! – Я отпила отличного густого молока из кувшина, обнаруженного в корзине, и продолжала: – Он любезен с нами. Не стоит думать дурно о человеке, который нам покровительствует.

– Мне показали, где ты можешь искупаться, – сказал Шуарле всё так же мрачно. – И этот солдат, Йа-Кхеа, намекнул, что мне тут рады как слуге с женской половины. По дороге от бассейна я видел человеческих женщин, и думаю, что они жёны или любовницы принца.

– У принца может быть много жён?

Шуарле пожал плечами:

– Почему нет? Но старшая жена – Раадрашь. Нам будет совсем непросто жить с ней под одной крышей – или я вообще не знаю женщин.

– Я думаю, это ненадолго, – сказала я, желая быть рассудительной. – Мы немного погостим в замке Тхарайя и отправимся дальше. А ты должен бы чувствовать благодарность принцу.

– Я не чувствую, – отрезал Шуарле. – Я бы чувствовал благодарность, будь он слепой, слабоумный или восьмидесяти пяти лет от роду.

Я расхохоталась.

– За что ему всё это?

– Только слепой или слабоумный, встретив тебя на пороге, позволит тебе вскоре покинуть его дом, – констатировал Шуарле. – А восьмидесятипятилетний не позволил бы, конечно, но, быть может, стал бы думать о тебе как о любимой внучке.

– Принц и так немолод, – возразила я.

– Ему лет за тридцать, – прикинул Шуарле.

– Да, его высочество стары, – вздохнула я, и Шуарле воздел глаза горе. – Ну, пожалуйста, пожалуйста, не огорчай меня… лучше проводи до бассейна и помоги вымыть волосы, а? Между прочим, кровь сражений и грязь странствий делают тебе честь, но не особенно украшают.

Шуарле не стал спорить дальше. Он сгрёб в охапку мою новую одежду – довольно небрежно, я бы сказала – и открыл для меня дверь в коридор.

Как всегда, я отослала Шуарле, прежде чем раздеться донага. Вероятно, по здешним меркам это было моим личным нелепым предрассудком – но он столько раз показывал мне мужскую природу своей души, что я никак не могла перебороть стыд. Он помог мне отмыть волосы, но купаться я собиралась в одиночестве.

Мраморный бассейн, полный тёплой воды, в которую добавили соли, пропитанной жасминовой эссенцией, был великолепен; обитательницы замка не дали мне насладиться им в полной мере. Они пришли глазеть на меня, как рабыни в доме Вернийе, совершенно такие же бесцеремонные и самоуверенные, только недоброжелательности, полускрытой развязной весёлостью, было побольше. Я решила, что они не аглийе, а человеческие женщины – потому что без хвостов.

Когда они объявились, мне пришлось всерьёз бороться с желанием позвать Шуарле и укутаться во что-нибудь непрозрачное. Простыня из хлопчатой бумаги, которую я накинула на мокрое тело, тут же обозначила его с предательской откровенностью.

– Говорят, она принцесса, – сказала статная женщина с медальным лицом. – Интересно, она девственница?

– Судя по тому, как она закуталась – да, – усмехнулась красавица, усеянная крохотными прелестными родинками. – Смотри, Гулисташь, она краснеет, как вишня!

– Бледная немочь, – фыркнула женщина, маленькая, как белочка, блестя круглыми, очень живыми и, пожалуй, злыми глазами. – Так её назвала госпожа Раадрашь – очень точно!

– Госпожа слишком хочет быть королевой, – сказала Гулисташь со вздохом якобы сочувствия. – Ей так надо, чтобы хоть кто-нибудь родил господину ребёнка, что она готова поступиться гордостью и таскать в дом мышей и лягушей…

– Грустно, но, я думаю, госпожа и здесь ничего себе не выиграет, – снова фыркнула малютка, не заметив яда в тоне товарки. – Свои женщины родить не могут, как сможет это заморское чудо? Рассказывают, будто они холодные, как снег.

Тем временем я потихоньку взяла себя в руки.

– Ты права, – сказала я, улыбнувшись по возможности любезно. – Я холодная, как снег. И я собираюсь вскоре возвратиться в свою страну, где только снег, лёд и волки в угрюмых лесах. А почему пытаться кого-то родить должны все подряд? Что же сама Раадрашь? Она ведь жена господина.

Красавица в родинках (самая прелестная из них украшала уголок рта) усмехнулась и покачала головой, остальные взглянули враждебно.

– Раадрашь – аглийе, – сказала красавица. – Её отец, государь птиц, отдал её господину, заключая боевой союз между аглийе и людьми как залог военной помощи. Она думала, что идёт замуж за аглийе и будущего короля людей, а отец господина объявил, что намерен пренебречь первородством полукровки и отдать право на трон тому из младших принцев, у кого будет больше детей. И вообще – человеку.

– Но как это возможно?! – вскричала я. Почему-то меня страшно огорчила эта творимая с принцем несправедливость. – Это же дурно!

– Да, она глупа! – снова фыркнула малютка. – Дурно! Вы слышали?!

– Она здесь чужая, – сказала красавица. – Ты несправедлива, Далхаэшь. Послушай, белая, разве ты не знаешь, что у человека и аглийе может родиться дитя, но у полукровки, от кого бы то ни было – уже очень редко? Человеческий король обкусал себе все ногти на ногах с досады, что наш господин – его старший сын. Роду Сердца Города, правящему Ашури-Хейе, уже тысяча лет, он никогда не прерывался – а на нашем господине может прерваться навсегда по вине его отца…

– Да уж, – сказала Гулисташь насмешливо и горько. – Господин Тхарайя отважен, силён, недурён собой, его воины держат в страхе врагов и соседей, его власть велика – над всем, кроме собственной судьбы. Родной отец считает его пятном на штандарте рода и не желает видеть

его самого и его свиту-аглийе в своём дворце. Сам господин брал женщин без числа – и ни на одной не оставил следа, как дождь на каменной плите. Это кажется жалким…

– Делает несчастными женщин, – зло вставила Далхаэшь. – Крылатая госпожа ведёт себя достойно, если бы не она, наш господин Бесплодный Камень и нас раздарил бы своим офицерам! А госпожа добра к тем, кто проявляет уважение и покорность, она не даёт женщин в обиду. Если ей удастся найти девицу, которая ухитрится родить – мы все будем жить в Гранатовом Дворце, а не в этом ледяном орлином гнезде, где вместо сада – три травинки между каменных плит. Жаль, что в этом случае нет никаких шансов! – закончила она безапелляционно.

– Мне Раадрашь не показалась доброй, – сказала я. Мне было нестерпимо грустно, непонятно почему.

Далхаэшь резко указала на меня пальцем.

– А почему, скажи, она должна быть доброй с тобой? Кто ты такая? Принцесса, говоришь ты – а сама таскаешься по горам, как бродяжка! Я уверена, что это ложь, причём глупая. Тоже мне, свита принцессы – какой-то кастрат…

– Он – тоже полукровка, – сказала я.

– Вы послушайте только! – воскликнула Далхаэшь. – Она сравнивает своего кастрата, бесхвостого, которого продавали на ярмарке вместе со скотом – с нашим господином! Скажи об этом принцу – ему польстит!

– Ну, – рассмеялась Гулисташь, – её слуга не Каменная Плита! Этот – Песок, сколько в него ни лей, ничего не вырастет! Ниоткуда!

Я поняла, что никакой разговор не имеет смысла и что тёмная сторона замка – и вправду изрядно тёмное место. Я собрала одежду и пошла прочь; я сильно озябла, но не могла понять, следствие это мокрой простыни или холод окружающей враждебности. За моей спиной женщины продолжали обсуждать принца и свою горькую долю.

Шуарле ждал меня в комнате.

– Приходила Раадрашь, – сказал он, обсушивая мои волосы. – Спрашивала, девственница ли ты и не хочу ли я прыгнуть вниз из этого окна. Ты кажешься мне не такой обнадёженной, как до бассейна.

– Ты был прав, – сказала я печально. – Я ничего не понимаю в жизни. Наш хозяин очень несчастлив оттого, что у него нет сына, – и дарит своих неудавшихся любовниц офицерам… хвостатым, я думаю. Что будем делать?

– Что скажешь, – сказал Шуарле спокойно. – Хочешь – вправду прыгнем отсюда. Хочешь – посмотрим, что будет дальше. Видишь ли, Лиалешь, моя жизнь с некоторых пор в твоих руках.

– Ты – рыцарь, Шуарле, – сказала я. – А я – глупая девочка, это говорят все.

– Не знаю, что такое рыцарь, – отозвался мой друг. – Если мы с тобой решили пожить ещё немного, то, может быть, я заплету твои косы? Пока ты ещё жива, Лиалешь, тебе нужно выглядеть принцессой.

Мне оставалось только согласиться.

День прошёл в тревожном ожидании непонятно чего.

Шуарле позвали к тем самым резным дверям, ведущим в Светлые покои, когда уже настал настоящий вечер. Я собиралась ложиться спать, он как-то отвлёк меня – и оказался прав: ему сообщили, что принц желает меня видеть.

– Для визита уже поздно, – сказала я. – Это кажется мне неприличным.

– Это неприлично, – подтвердил Шуарле, скептически разглядывая мой костюм. Рубаха из лёгкого голубого шёлка, вышитая золотыми облаками, с разрезами на боках до самой талии, и штаны, тоже голубые, золотые и с разрезами, были не того сорта, какой хорош для торжественных приёмов. Им не хватало строгости. Я распустила голубой с золотом платок и укуталась в него, как в шаль, но это не многому помогло. Я уныло посмотрела на себя в зеркало.

– Ты не можешь отказаться, – сказал Шуарле. – Пойдём, иначе решат притащить силой.

– Ладно, – сказала я. – Пойдём. Мы придём туда вместе, а потом ты меня подождёшь. Будет очень вежливо: его высочество и я со свитой.

Шуарле коротко рассмеялся, и мы с ним отправились в покои его высочества, как на опасное дело.

Тхарайя

Когда вернулся патруль, я писал отцу:

«…Касаюсь праха у ног Гранатового Государя, желая ему здравия, и благоденствия, и процветания на тысячу лет. Уведомляю Светоч Справедливости, что на северо-западной границе царит ненарушаемый мир. Озирая рубежи, верные воины Лучезарного видели лишь странствующих купцов, уплативших пошлину, как подобает подданным мирным и почтенным, а также кочевников-нугирэк, исповедующих веру в Костёр и Солнце. Упомянутые кочевники направляются в Лаш-Хейрие, дабы потешать горожан Лучезарного танцами на тлеющих углях и глотанием огня.

Горная цепь Нежити – по-прежнему крепостная стена Оплота Мира. Пришедшие из-за реки не преступают начертанных границ, а воины Лучезарного по-прежнему следят за соблюдением договоров.

На вопрос Светоча Справедливости о разбойнике, прозываемом Волосатым Пауком, сообщаю: упомянутый злодей ныне пребывает на другом берегу. Воины Лучезарного выследили его банду в ущелье Трёх Ветров; отребье, руководимое Волосатым Пауком, было уничтожено, а он сам четвертован и обезглавлен. Голова упомянутого Паука и его руки отправлены в Лаш-Хейрие, дабы быть выставленными на всеобщее…» – и на этом месте меня прервали.

Молния влетела в мой кабинет так стремительно, что бумаги полетели на пол, а в клетке шарахнулись отцовские голуби. Секунду я был одержим желанием швырнуть сандаловый калам и заорать; пришлось тяжело брать себя в руки, глубоко вдыхать и вспоминать родовое имя, чтобы суметь аккуратно положить калам на край тушечницы.

– У меня подарочек для тебя! – заявила Молния с порога.

– У тебя подарок для твоего господина, – сказал я так бесцветно, как мог. – Я знаю, что ты жаждешь сглазить меня прямым обращением, но и без тебя много желающих, Молния.

– Я не хочу церемоний, Ветер! – фыркнула она и хлестнула себя хвостом по бокам. – Я тоже царской крови, а здесь нет никого из вассалов!

– Если бы здесь был кто-нибудь из них, – сказал я, – я велел бы ему тебя запереть.

Кажется, Молния, наконец, сообразила, что сделала что-то не так. Она улыбнулась, как сумела, поклонилась, не слишком себя утруждая, и подсеменила ко мне, пытаясь совладать со своей нелепой походкой.

– Я не хотела вызвать гнев повелителя, – сказала она с нежностью, не способной обмануть даже трёхлетнего младенца. – Я надеялась его обрадовать.

– Ты обрадуешь меня, забыв навсегда, что в мою дверь может среди бела дня ворваться женщина, – сказал я. – Не будь у тебя крыльев, я посадил бы тебя на цепь в ночных покоях.

– И приходил бы ко мне по ночам? – усмехнулась Молния.

Мне стоило большого труда её не ударить.

– Нет. Днём. Чтобы посмотреть, как тебя кормят битыми крысами.

Молния обиделась. Великолепное зрелище.

– Я всегда пытаюсь развеселить тебя, – сказала она капризно и спесиво сразу, – а из тебя льётся медь вперемежку с ядом, стоит мне слово сказать.

– Мне весело, – сказал я в тихом бешенстве. Я успел подобрать разбросанные донесения, голуби мало-помалу успокоились, но между нами всё равно пахло озоном. – А если ты сообщишь, что встретилось патрулю, я буду просто счастлив. Я страстно желаю, чтобы ты придала своему визиту хоть видимость нужного.

– Ничего особенного не случилось, – сказала Молния, дёрнув плечом. Её хвост задел чашечку с кавойе – и владелице хвоста очень повезло, что остатки гущи не вылились на письмо. – Ах, прости, я не хотела… Ну полно, Ветер, я всего лишь вспомнила, как было

забавно. Мы проводили караван, мы вернули заблудшего демона на тот берег, а потом мы увидели, как грибы напали на людей, представляешь?!

– Ты с таким восторгом говоришь об успехах грибов, будто они – твои родственники, – сказал я. – Надеюсь, ты не опустилась до того, чтобы отдать оборотням этих несчастных? Ну просто для того, чтобы стало ещё забавнее, а?

Молния хихикнула:

– Вот в том и дело, Ветер! Они здесь, у самых дверей!

– Грибы?

Молния воздела руки и закатила глаза:

– Эти люди! Девица и евнух! Это и есть мой подарок тебе, вот что я хотела сказать. Эта девка сказала, что она царевна с севера, вот что! Она – бледная, как сметана, волосы у неё, как овечья шерсть, она говорит, как потаскушка-нугирэк с базара, только ещё невнятнее! Хочешь взглянуть?

Я закончил письмо: голова и руки подонка будут выставлены на столичной площади на пиках, больше пастухов и караванщиков никто не тронет. Других новостей нет, буду счастлив увидеть Гранатового Государя в любой миг и умереть за него, когда он пожелает. Бросил на письмо щепоть мелкого песка, стряхнул, сложил лист шёлковой бумаги тоненькой трубочкой и вставил его в голубиный браслет. Вытащил голубя из клетки, сунул за пазуху, тёплого. Всё это время Молния смотрела на меня в нетерпеливом ожидании, будто её бесила моя нарочитая медлительность; её взгляд подталкивал меня изо всех сил, но я совершенно не желал что-нибудь упустить ей в угоду.

Я вышел из кабинета, не торопясь; Молния меня обогнала. Она крутанулась по винтовой лестнице, пронеслась мимо стражи как вихрь – и распахнула передо мной дверь нарочитым, слишком грубым, безобразно неженским жестом.

Пленники Молнии стояли в окружении стражи и выжидательно смотрели на дверь. Увидев их, я усомнился в словах первой жены: они не были похожи на людей.

Худой лохматый евнух имел прекрасные глаза аглийе. И клеймо между бровей. Я в который раз проклял людей, делающих такое с моими родичами, и в который раз пообещал богам запретить это законом под страхом смерти, если когда-нибудь получу законодательное право – но это мелькнуло в уме между прочим. Женщина…

Женщина выглядела как аманейе. Не как человек. Такого я вообще никогда не видел – её косы, лён с золотой канителью, её глаза цвета осеннего неба, её бледно-розовое личико… И при всём этом невозможном, необыкновенном облике – жалкая рубашонка из крашеного сандалом холста, такие же штаны, туфельки из крахмальной холстины, сложенной впятеро. Одежонка деревенской девчонки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.